Леонид Ленч

ВСТРЕЧИ НА ПУТИ

Леонид Ленч

ВСТРЕЧИ НА ПУТИ

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА
1982

Р2
Л46

Ленч Л. С.

Л46 Встречи на пути: Рассказы.— М.: Современник, 1981.— 224 с.

В новой книге известный писатель-юморист Леонид Ленч рассказывает интересные, забавные, порой грустные и поучительные истории, очевидцем и участником которых он был. В книге ярко раскрываются грани замечательного доброго таланта писателя. Предлагаемые рассказы своеобразны и в жанровом отношении.

Во втором разделе сборника Л. Ленч делится впечатлениями о встречах с Владимиром Маяковским, прославленным музыкантом Василием Андреевым, легендарным комдивом Жлобой, Михаилом Зощенко, другими деятелями советской культуры.

Л $\frac{50-81}{М106(03)-82}$ 4702010200—154 ББК 84Р7 Р2

Леонид Сергеевич Ленч

ВСТРЕЧИ НА ПУТИ

Рассказы

Рецензент *О. Михайлов*
Редактор *Л. Егоршилов*
Художник *В. Захарченко*
Художественный редактор *О. Червецова*
Технический редактор *Г. Бойцова*
Корректор *Т. Люборец*

ИБ № 1952. Сдано в набор 01.04.82. Подписано к печати 02.04.82. А02031 Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1 Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,06. Уч. изд. л. 11,79. Тираж 50 000. Заказ 0384. Цена 95 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Отпечатано с матриц республиканской типографии Государственного комитета Удмуртской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
426057, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13.
390012, Рязань, Новая, 69/12, Рязанская обл. типография. Зак. 1512

Рассказы из моей жизни

Галлюцинация

I

Мне было лет шесть или семь (скорее все-таки шесть, потому что я еще не учился в гимназии), когда серьезно заболела мама, у нее были обнаружены зачатки туберкулезного процесса.

Ее отправили на три месяца в Финляндию, в какой-то легочный санаторий, расположенный в сосновом лесу на берегу Финского залива.

На прислугу оставлять нас — меня и моего старшего брата Диму — мама не захотела. Что делать?

Не без добрых душ на свете! Мамина приятельница, вдова пехотного гвардейского полковника Мария Ниловна А., согласилась взять меня и Диму к себе «под крыло» на все время маминого лечения.

И вот мы с Димой живем в одной из пяти комнат ее большой холодной квартиры на Суворовском проспекте, недалеко от Смольного. Дима учится в Третьей петроградской гимназии, встает рано утром, когда в квартире еще совсем темно. Феклуша — прислуга полковницы, угрюмая, неразговорчивая тетка,— поит его чаем в столовой, стараясь не греметь посудой, чтобы не разбудить — упаси бог!— нервную, вспыльчивую и, как мне казалось тогда, неизъяснимо прекрасную Надежду Владимировну, дочь Марии Ниловны, артистку театра феерий при Народном доме.

Я выхожу в прихожую провожать Диму. Я мучительно ему завидую. Он уже надел светло-серую шинель до пят, надвинул на уши фуражку с гербом — две перекрещенные пальмовые жестяные веточки, на спину повесил тяжелый ранец с учебниками и тетрадями. Он — невыспавшийся, хмурый, сердитый.

Он грозит мне пальцем:

— Смотри тут без меня... не очень-то!— и уходит, не обернувшись на прощанье.

Я плетусь в нашу комнату и снова засыпаю и сплю до тех пор, пока меня не разбудит Феклуша и не скажет, чтобы я скорее вставал, умывался и шел завтракать, потому что барыня и барышня уже встали и они не любят, когда опаздывают к столу.

Я наскоро умываюсь и бегу. Полковница и ее дочь сидят за большим столом, накрытым белоснежной накрахмаленной скатертью.

— С добрым утром, Марь Ниловна!.. С добрым утром, тетя Надя!

Мария Ниловна привлекает меня к себе и целует в обе щеки. Я вижу близко ее улыбающиеся милые глаза и сетку морщинок под ними. Надежда Владимировна — в японском халатике, благоухающая, свежая, с тяжелым узлом белокурых, с золотым отливом, волос на затылке,— небрежно треплет меня тонкой рукой по голове:

— Как человек спал?

— Хорошо.

— Садись, человек, и ешь! Только как следует. Без капризов.

После завтрака мать и дочь надолго уезжали по своим делам: мать — по магазинам, по знакомым, дочь — в театр. И я оставался один.

Трудно жить на свете одинокому шестилетнему человеку, у которого мама болеет, а папе некогда, а старший брат уехал — на трамвае!— в гимназию на Гагаринскую. Пропасть можно! Но у шестилетнего человека был друг, и он не давал ему пропасть. Друга звали Зарой, она была черный пудель и жила этажом ниже, в такой же большой холодной квартире, у сестры Марии Ниловны — Александры Ниловны, тоже офицерской вдовы.

Потомившись, я шел в кухню к Феклуше. Она обычно мыла посуду или крутила мясорубку. Я долго стоял и смотрел, как из раструба ее агрегата вылезают розовые червяки смолотого мяса, потом начинал свой скулеж:

— Феклуша, можно, я пойду в гости к Зарке?

— Нельзя!

— Почему?

— Александра Ниловна уехали с барыней. Ключ от двери у меня — вот он! Собака одна осталась, какие у нее могут быть гости! Ей тебя даже и угостить-то нечем!

— Мне ничего не надо! Вы только дайте мне один кусочек сахару, я сам ее угощу. Пойдемте, Феклуша!

— Сказано — нельзя! Вас вдвоем с Заркой оставить — вы все в квартире побьете, перевернете, а мне — отвечать!

— Тогда приведите Зару к нам в гости, Александра Ниловна сказала — можно. Пожалуйста, Феклуша!

— Освобожусь — приведу!

— А можно, я здесь обожду?

— Нельзя! Ступай к себе. Сказала — приведу, значит, приведу.

Как томительно долго тянется время! И вот наконец в прихожей раздается звонкий радостный лай, я бегу туда, и Зара бросается в мои объятия!..

Сколько прошло лет — страшно сосчитать! Сколько куда более важных и значительных событий моей жизни не сохранила память, а вот эти детские встречи с пуделем Зарой почему-то вытащила на свет божий из бездонной пропасти вечного забвения! Я вижу Зару как живую, вижу ее добрые коричневые глаза с большими, как у человека, белками, ее узкую, симпатичную морду с черным холодным и влажным кончиком носа, ее тяжелые висящие уши, ее курчавый, седеющий задик.

Как весело мы с ней играли, носясь наперегонки по всей квартире, как смешно она прыгала, повинуясь моей команде, через пуфики в гостиной полковницы, как самозабвенно, со всей щедростью великодушной собачьей души старалась меня развлечь.

Приходила Феклуша из кухни и, чтобы угомонить нас, приносила мне стакан молока и булку, а Заре — кусок мяса. Поев, мы уходили в отведенную мне и Диме комнату, и я брался за цветные карандаши. Я очень любил рисовать в детстве и мог рисовать часами. Натура давалась мне плохо, я предпочитал заселять бумагу кружочками, черточками, неправильными треугольниками и солнечными дисками яично-желтого цвета с зелеными кривыми лучами, похожими на щупальца осьминога. Я был убежденным абстракционистом. Но, рисуя абстрактные кружочки, я думал о реальности, а этой

реальностью была все та же моя печальная судьба. Почему не возвращается мама из санатория на берегу Финского залива? Почему вчера не приехал папа, как обещал, а лишь прислал Диме открытку? Когда же, когда мы вернемся домой, к себе на Пески?!

Незаметно для самого себя я начинал плакать, сначала тихо, потом громко, почти навзрыд, и тогда Зара — она покоилась у моих ног, уютно положив морду на вытянутые передние лапы,— вскакивала и, жалостно поскуливая, облизывала мои мокрые от слез щеки, губы, глаза своим теплым ласковым языком. Утешала, как умела.

Потом Феклуша уводила Зару. Из гимназии возвращался Дима, голодный, но подобревший и бодрый. Снисходительно рассказывал гимназические новости: его вызывали к доске по географии — получил, конечно, пятерку. Второгодник Усов Николай показал исподтишка немцу Густаву Густавовичу язык, немец увидел и, закатив Усову Николаю в журнале единицу за поведение, выставил его из класса. Худо теперь будет Усову Николаю — попадет он, бедняга, как пить дать, на педагогический совет!

— А что с ним там сделают?

— Башку отрубят.

Я замирал от ужаса. Мне было жалко Усова Николая, и еще я боялся за Диму: как бы и он не попал на педагогический совет, который запросто рубит гимназистам головы! Но Дима был первый ученик в своем классе, круглый пятерочник,— за его голову можно было не опасаться.

II

Умирали за окном серые, гнилые петербургские сумерки. Обедали в пятом часу, уже при свете. К обеду тетя Надя часто привозила своего жениха Юрия Константиновича, сына известного ученого-академика, студента Политехнического института. Я помню, что он был невысок, помню его ровный, по ниточке, пробор на черноволосой голове, его студенческую куртку с погончиками.

За обедом он рассказывал смешные истории, подшучивал над тетей Надей — уверял, например, Марию Ни-

ловну, что ее дочь — великая актриса! — «слопала» сегодня в кондитерской на Невском десять пирожных одно за другим подряд и что поэтому она не хочет есть суп. Мы все смеялись. Я, сам большой сладкоежка, от восторга подскакивал на стуле: десять пирожных сразу,— вот это здорово!.. Ай да тетя Надя!

Надежда Владимировна злилась и, бросая на стол ложку, говорила с сердцем:

— Юрий, как вам не надоест говорить глупости!

Юришный — так по-приятельски я звал Юрия Константиновича — дурашливо прикладывал руку к «пустой» голове:

— Виноват, ваше высокоблагородие, больше не буду!

Юришный мне очень нравился. Он нравился мне еще и за то, что, с моей точки зрения, был замечательным художником.

Я сижу в гостиной (чтобы не мешать Диме готовить уроки) и рисую. Юришный подсядет, скажет:

— Ну-ка, покажи, что ты там изобразил!

— Вот!

— Опять все из головы?! Рисуй то, что ты видишь. Нарисуй меня!

Он садится передо мной в профиль. Профиль у него четкий, красивый. Через минуту рисунок у меня уже готов. С самым серьезным видом студент рассматривает мою мазню.

— Ничего! Нос, правда, у тебя получился несколько длинноват, из такого носа можно выкроить пять моих и еще кусочек останется для твоего. И ухо ты мне посадил на подбородок. А в общем молодец! Теперь давай я тебя нарисую!

Юришный тоже рисует быстро. Я смотрю на свой портрет его работы и восхищаюсь: да, это я! Но в то же время это и не я, а какой-то другой мальчик. И он мне очень нравится. Что сделал с моим лицом Юришный своим волшебным карандашом?!

Веселый, ловкий и добрый Юришный стал с некоторых пор казаться мне существом загадочным, таинственным и необыкновенным. Если бы его затрапезная студенческая куртка (мамин брат дядя Вася ходил в такой же) вдруг на моих глазах превратилась бы в королевскую мантию, отороченную драгоценным мехом

горностая (такие мантии носили короли на рисунках к «Сказкам Андерсена» — мама читала мне вслух эти сказки), я бы, пожалуй, не очень удивился: от тайных социал-демократов всего можно ожидать! То, что Юришный — тайный социал-демократ, я узнал случайно. Я прикорнул на диванчике в гостиной, Мария Ниловна и тетя Надя сидели в креслах у камина и, не обращая на меня внимания, говорили о нем, о Юришном.

— Ты знаешь, мне кажется, что он тайный социал-демократ! — сказала Мария Ниловна таинственным шепотом.

— Ну и что из этого?! — с вызовом ответила тетя Надя, поднялась и ушла к себе.

Тайный социал-демократ... Даже высокообразованный, начитанный Дима не смог объяснить мне, что это такое.

Человеком необыкновенным казался мне и брат тети Нади Леонид Владимирович, дядя Леня — двадцатитрехлетний уланский корнет, приезжавший в Петербург на побывку.

Раздался звонок. Я побежал в прихожую. Феклуша отворила двери, и на пороге возник... живой оловянный солдатик! Высокий, розовощекий, улыбающийся.

Почему пришелец показался мне оловянным солдатиком? Видимо потому, что хотя он и был в обычной серо-голубоватой офицерской шинели, но на голове у него была не обыкновенная офицерская фуражка (такая, как у другого маминого брата — дяди Сережи), а парадная черная узкая каска с бронзовым двуглавым орлом и какой-то четырехугольной штукой вместо шишака наверху. Такие (или вроде таких) каски украшали головы всадников в моем наборе оловянных солдат.

Я замер.

Роскошный улан, продолжая улыбаться, протянул мне руку:

— Я тебя узнал, ты — Леня. А я твой тезка, тоже Леня.

Шаркнув ногой, я пожал его руку, страшно сконфузился и убежал.

Дядя Леня прожил в квартире на Суворовской неделю. Гремел шпорами, громко хохотал, громко говорил — о непонятном непонятными словами: «экстерьер», «шенкеля», «аллюр», «дура Эсмеральда выкинула свеч-

ку». А куда дура Эсмеральда выкинула свечку, попробуй пойми!

К обеду теперь подавались водка и вино. Улан приезжал домой из города уже навеселе. Мария Ниловна укоризненно прижимала к груди маленькие пухлые ручки.

— Ленечка, ты опять?!

Корнет смеялся и каждый раз повторял одно и то же:

— Мама, еще Лермонтов сказал: «И кто два раза в день не пьян, тот, извините, не улан!»

Мне очень понравились эти звучные строки, и однажды вечером я побежал в прихожую, надел на голову парадную уланскую шапку и, придерживая ее обеими руками, появился в гостиной, где сидели взрослые и Дима. Все засмеялись при моем появлении, а тут я еще пропищал, продолжая держать каску обеими руками:

— Кто два раза в день не пьян, тот не улан!

Подвыпивший корнет пришел в неистовый восторг и закричал:

— Клянусь честью, он будет уланом!

— Нет, он будет художником! — сказал Юришный.

— Вот увидите, что он будет уланом, а не каким-нибудь там мазилкой! — дурачась, говорил корнет.

Он схватил меня своими железными руками, поднял на воздух и посадил себе на плечи.

— Держись, улан!

Я вцепился в его золотые погоны с одним просветом и двумя звездочками, уланская каска съехала куда-то ниже моих ушей. Корнет заржал, как конь, взбрыкнул ногой и стал носиться по гостиной, перепрыгивая через пуфики не хуже, чем Зара. И вдруг, зацепившись шпорой за шелк обивки, грохнулся вместе со мной на пол. Каска покатилась под диван, я больно ушиб голову и заревел. Юришный подхватил меня, посадил к себе на колени и сказал смущенному дяде Лене:

— Клянусь честью, теперь он не захочет быть уланом!

III

Необыкновенной, конечно, была и тетя Надя. Я окончательно убедился в этом, когда попал — первый

раз в жизни — в театр Народного дома на спектакль «Вий» с ее участием.

Сначала был долгий спор, брать меня в театр или взять одного Диму.

Полковница говорила, что я еще не дорос до «Вия», ее дочь утверждала обратное, а мы с Димой сидели и все это слушали. Я, трепеща, поглядывал на старшего брата. Он прочитал в моих глазах безмолвную жаркую мольбу и сказал со свойственной ему солидностью:

— Я буду за ним присматривать, Мария Ниловна, и все объяснять, не беспокойтесь!

— Умница, Димочка! — сказала полковница, и спор решился в мою пользу.

Надо сказать, что в петербургском Народном доме умели ставить феерии, сценическая механика тут была на большой высоте. Из всего спектакля в моей памяти осталась одна сцена, именно она произвела тогда на меня впечатление самое главное и самое потрясающее.

Хома Брут читает ночью в церкви Псалтырь у гроба паненки-ведьмы, роль которой играла тетя Надя. Зловещая пустота церкви, суровые лики икон на стенах, монотонное бормотание чтеца — все это вселяло жуть в сердца малолетних зрителей. И вот в действие вступают могучие силы театральной машинерии.

Пронзительный жуткий ветер врывается в пустую церковь. Не поднимая глаз, бедный бурсак продолжает чтение Псалтыря. Вдруг тяжелый гроб с мертвой паненкой срывается с возвышения, на котором он стоял, и со свистом начинает описывать круги над головой Хомы, потом плюхается на свое место, и мертвая тетя Надя медленно поднимается из гроба. Тут я не выдержал, завопил не своим голосом и бросился вон из ложи. Дима схватил меня сзади за штаны и, шипя, как рассерженный гусь, действуя локтями и коленками, загнал назад в ложу.

— Это все по-нарошному! Не смей орать, а то я тебя тут же в театре отдую!..

Я не помню, как я досмотрел «Вия» до конца, но именно тогда, после спектакля, я стал думать, что тетя Надя — человек необыкновенный, но что ее необыкновенность особого свойства.

...Был отвратительный, мокрый ноябрьский день. За окном шел дождь со снегом, падая, он превращался на

земле в жидкую грязь. Я тосковал один в пустой квартире вместе с моей верной Заркой. Даже Феклуши не было — ушла в лавку.

Я затупил несколько карандашей — рисовать мне надоело. Я поднялся — собака сейчас же тоже вскочила на ноги,— и мы пошли с ней в гостиную. Из гостиной была дверь в комнату тети Нади. Входить туда без разрешения ее хозяйки нам с Димой было запрещено. Мне вдруг безумно захотелось нарушить этот запрет. Не раздумывая долго, я толкнул дверь и вошел в комнату. Постоял перед зеркальным шкафом, полюбовался отражением — своим и Заркиным. Зарка к черной собаке, стоявшей напротив нее, морда в морду, отнеслась равнодушно — она привыкла к зеркалам.

Сердце мое почему-то билось часто-часто. Я подошел к туалету красного дерева. Выдвинул боковой ящик и увидел дивной красоты розовую атласную коробку-бонбоньерку. Открыл крышку: в коробке лежали конфеты в ярких бумажных обертках. Взял одну конфету, развернул бумажку, положил шоколадку в рот, нажал зубами... и тут началась чертовщина! Стена, подле которой стоял туалет красного дерева, раздвинулась, как театральный занавес, в обе стороны, в проеме появилась неизвестная мне старуха. Седая, большеносая, совсем не страшная с виду. Бабушка как бабушка. Она появилась не целиком, а лишь до пояса. Это был как бы скульптурный бюст старухи. Но бюст этот был живой. Старуха глядела прямо на меня и строго, осуждающе качала головой. Кажется, она даже сказала при этом: «Ай-ай-ай, как не стыдно!»

Потом старуха — видимо, страж сокровищ тети Нади — исчезла, и стена сомкнулась.

Я стоял с конфетой в руках, и меня всего трясло. Кое-как я завернул надкушенную конфету в ее алое бумажное одеяние, положил обратно в бонбоньерку, задвинул ящик туалета и лишь тогда закричал. Засуетилась, дико залаяла Зарка, и мы с ней опрометью кинулись наутек из заколдованного убежища тети Нади.

У себя в комнате я бросился на кровать, Зара вскочила ко мне, я прижался к ее теплому, лохматому туловищу и незаметно для себя заснул.

Разбудил меня Дима, вернувшийся из гимназии. Зары уже не было — увели домой, а я и не заметил ее

исчезновения. Диме я ничего не сказал о том, что со мной произошло.

Какой скучный и невкусный был обед в тот вечер! Пересоленный суп, недожаренные котлеты,— на Феклушу тоже действовала гнилая питерская непогодь!

Полковница вздыхала, тетя Надя — бледная, под глазами густые тени — почти ничего не ела, сидела отрешенная от всего земного, прямая, неподвижная и молча злилась. Даже Юришный молчал, иронически ковыряя вилкой недожаренную котлету. Наверное, они с тетей Надей были в ссоре.

Я ждал сладкого, но оказалось, что сладкого не будет: Феклуша ничего не приготовила.

Тетя Надя посмотрела на меня, на Диму и сказала театрально:

— Бедные мальчики! А у меня, как на грех, ни одной конфетки!

«Зачем она говорит неправду? — подумал я.— А розовая коробка?!»

Вдруг Юришный встал из-за стола и храбро пошел прямо в заколдованную комнату. Тетя Надя недовольно пожала плечами.

Когда студент снова появился в столовой, в его руках была знакомая мне розовая атласная бонбоньерка. Сердце мое снова часто забилось.

— Я совсем про нее забыла! — сказала тетя Надя, зло сверкнув глазами в сторону своего жениха.— Возьмите по конфете, мальчики!

Дима, не глядя, запустил в коробку руку и взял конфету в алой обертке.

Юришный подошел ко мне. Он глядел на меня, улыбаясь загадочно. Я уже протянул дрожащую лапу к коробке, но он отвел ее и, сделав круговое движение своей рукой в воздухе над бонбоньеркой, сказал: «Але, гоп!»— и сам вытащил для меня конфету.

Я сразу ее узнал. Она! Та самая, надкушенная! В одно мгновение я содрал алую обертку, сунул шоколадку — вещественное доказательство моего преступления — в рот и убежал из столовой.

Все теперь стало мне окончательно ясно: тетя Надя — это, конечно, тайная ведьма, а Юришный — добрый волшебник. Так вот, оказывается, что такое тайный социал-демократ!

Как я был великомучеником

I

Когда я был учеником четвертого класса Третьей петроградской гимназии — о, как давно это было! — я на некоторое время стал служителем религиозного культа.

Конечно, в свои двенадцать лет я не мог стать ни священником, ни дьяконом, ни псаломщиком. Церковным старостой я тоже не мог быть.

Кем же я стал?

Когда идет церковная служба, в особенности праздничная, наступает торжественный момент, и из боковых дверей алтаря выходят шпингалеты в длинных, до пят, парчовых одеяниях — стихарях, пошитых из того же материала, что и риза священника.

Они становятся в положенном месте и затем, как говорится, «по ходу пьесы», оказывают священнику или дьякону разные мелкие служебные услуги. Или просто так стоят, как статуи, со свечами в руках, вперив молитвенный взор в церковный потолок, изукрашенный щедрой кистью богомаза, а иногда и настоящего художника.

Вот таким шпингалетом я и заделался.

Произошло это так.

У моего брата Димы — он учился в шестом классе той же гимназии — был приятель Витя Древин, они сидели на одной парте.

Витя Древин прислуживал в домашней церкви Смольного института, того самого института для благородных девиц, в здании которого впоследствии, в 1917 году, разместился военно-революционный комитет — ленинский штаб Октябрьской революции.

Мать Вити Древина, тихая вдова с бледным плаксивым лицом, была кастеляншей Смольного, то есть заведовала простынями, наволочками, пододеяльниками, лифчиками, чулками и прочими предметами туалета благородных девиц. Она командовала всеми институтскими прачками. Витя — низенький, крепко сбитый,

длинноносый мальчик, похожий на маленького тапира, был ее единственным сыном, в котором она души не чаяла.

Как-то он позвал Диму и меня к себе в гости. Когда мы напились чаю с пирожными и Митина мама вышла из комнаты, ее длинноносый сынок обратился к Диме и сказал:

— Хочешь, я тебя устрою в нашу церковь прислуживать?

Дима неопределенно усмехнулся:

— Разве это так интересно?

— Очень! Я все службы знаю! Из алтаря мы с тобой будем выходить в стихарях — представляешь?! Ты кагор любишь?

— Это вино такое?

— Ну да, вино. Из которого делают причастие. Сладкое... Мы обязательно с тобой тяпнем!

Я уже не помню, чем еще соблазнял Диму Витя Древин, но в конечном счете соблазнил, и Дима сказал:

— Хорошо, поговори с отцом дьяконом. Только знаешь что, давай возьмем и Леньку!

Маленький тапир посмотрел на меня и поморщился. Я весь замер от напряженного ожидания. Мне вдруг тоже безумно захотелось выходить из алтаря в стихаре и после трудов праведных тяпать кагор.

Витя Древин выдержал долгую томительную паузу и сказал:

— Молод еще! Ну да ладно, попрошу отца дьякона, может, согласится взять и Леньку.

Отец дьякон согласился.

II

Семья наша не была особо религиозной: отец — военный врач, музыкант, великолепный рассказчик анекдотов и всяких смешных историй — был равнодушен к религии, мама в бога верила, но не по глубокому убеждению, а по привычке, верила потому, что в ее светском кругу было так принято. Мы же с Димой, как гимназисты, обязаны были изучать закон божий и строго соблюдать то, что нам предписывало гимназическое начальство: ходить в церковь по большим праздникам, говеть и исповедоваться в своих грехах в страстную не-

делю — последнюю неделю великого поста перед праздником пасхи. Говели и исповедовались мы в нашей гимназической церкви, у нашего священника, преподавателя закона божия. Разрешалось признаваться в своих грехах и на стороне, у чужого батюшки (так называли, да и сейчас называют священников), но тогда надо было взять у чужого батюшки справку: такой-то гимназист действительно говел, исповедовался и грехи его ему отпущены. Подпись и печать. С этим делом было строго.

Закон божий как предмет мне нравился. Память у меня была хорошая, древнеславянские слова молитв я запоминал легко, и они трогали мою душу своей туманной звучностью.

«Господи, владыка живота моего!» Оказывается, живот — это не живот, а жизнь! Или: «Ей, господи, царю, даруй ми!..» В переводе на язык обыденный, человеческий: «О, господи, царь небесный, дай мне!..»

Кроме того, я очень любил читать всякие страшные истории про мучеников за веру. Про то, как одного беднягу язычники бросили в яму и его там растерзали львы. А другого сожгли на костре, а третьему палач вырвал язык раскаленными щипцами.

Я читал эти истории, ужасаясь и восхищаясь, и, конечно, в моем воображении сейчас же возникал я сам: то в яме с рычащими львами, то на дымящемся костре, то в руках звероподобного палача с раскаленными докрасна щипцами.

Как это интересно и красиво быть великомучеником! Тебя пожирают дикие звери, а ты гордо молчишь или громко молишься богу. И плевать тебе на рычание львов с их окровавленными мордами. Здорово! Или ты стоишь в дыму и пламени костра, гордо скрестив на груди руки, все вокруг плачут, глядя на твои мученья, а ты знай себе возносишься душой к небесному престолу. Тоже здорово! Вырывание языка мне нравилось меньше. Я часто болел ангиной, и отец, который как раз и был специалистом по болезням уха, горла и носа, осматривая налеты на моей бедной гортани, заставлял меня высовывать мой «грешный, празднословный и лукавый» язык как можно больше, а потом еще крепко прижимал его чайной ложкой. Это было очень неприятно. А если вместо ложки начнут работать раскаленные щипцы?! Нет, этот вид мученичества я отвергал.

III

В назначенный день, перед страстной неделей великого поста, Витя Древин привел Диму и меня в церковь служащих Смольного института незадолго до начала службы и представил отцу дьякону.

Дьякон — патлатый румяный молодец с маслеными глазами веселого чревоугодника — потрогал рукой свою холеную черную бороду, подмигнул нам и сказал:

— Потянуло всевышнему послужить, господа гимназисты? Это хорошо! Только попрошу запомнить: алтарь — место святое, так что... ведите себя там тихо, смиренно, благопристойно. Не болтайте, не шепчитесь, хохотушек не устраивайте! Пошли!

Мы пришли с ним в алтарь. Вскоре появился священник — старенький старичок, ветхий, угрюмый, с жиденькой седой бородкой. Мы подошли к нему, он равнодушно благословил нас, и мы поцеловали его вялую холодную руку.

Началась служба. Мы надели на себя стихари, но не праздничные, из парчи, а будничные, из бордового шелка, порядком заношенные. Два раза мы с Димой, сопровождая священника, с тонкими свечами в руках выходили из алтаря и, постояв в самой церкви сколько надо, возвращались обратно.

Ничего интересного и завлекательного в церковном прислужничестве мы с Димой не обнаружили и сказали об этом Вите Древину, когда священник и дьякон вышли из алтаря и мы остались одни.

Витя прошипел в ответ:

— Дураки! Ничего вы не понимаете. Вот будет торжественная служба — другое запоете! Кагору хотите тяпнуть?

— Хотим! А как ты это устроишь?

Витя сделал жест рукой, означавший: не беспокойтесь, дело привычное. Но тут в алтарь вошел дьякон. Он подозрительно покосился на нас и снова вышел.

Кагору мы тяпнули, когда кончилась служба. Священник, вторично благословив нас, быстро удалился, дьякон тоже куда-то вышел.

Маленький тапир, гримасничая как обезьяна, извлек из тайника большую бутыль с красным десертным вином, и мы по очереди, воровски озираясь, прямо из гор-

лышка сделали по глотку. Кагор был сладкий, густой, терпкий,— он нам понравился.

Прощаясь с Витей Древиным, Дима сказал:

— Ты, тапир, сам грешишь и нас с Ленькой вовлек. Теперь мы все втроем попадем в ад и будем там кипеть в котле с кагором!

— Так я же покаюсь! — беспечно сказал находчивый Витя Древин.

— У кого? У твоего священника? Воображаю, что он запоет, когда ты признаешься, что мы пили кагор у него в алтаре!

— Я не у него покаюсь, а у отца Никодима, у нашего гимназического батюшки. Мой ничего не узнает!

IV

Катастрофа произошла во время службы на страстной неделе, на чтении двенадцати Евангелий. Это очень утомительный и долгий обряд.

Священник читает вслух главы из Евангелия, а шпингалеты в стихарях, должны стоять на протяжении всей церемонии неподвижно у «гроба господня», как солдаты на часах.

Мы надели новые стихари, мой оказался слишком длинным для меня. Дьякон объяснил нам, где мы с Димой должны встать. Наконец священник, дьякон, Дима и я торжественно вышли из алтаря к молящимся. В голове моей горячим гвоздем сидела одна мысль: только бы не наступить на длинный подол своего стихаря и не загреметь вместе со свечой — она была почти с меня ростом и очень тяжелая — у подножия «гроба господня». Делая осторожные, мелкие, как в старом китайском театре, шажки, я прибыл к месту с некоторым опозданием. Дьякон кинул на меня строгий, осуждающий взгляд.

Священник начал читать Евангелие. Я чуть успокоился и огляделся. А оглянувшись, оторопел: церковь была битком набита страшными клыкастыми ведьмами, горбатыми колдуньями, бледными, тощими, злыми феями в черных, наглухо застегнутых платьях. Нехорошо смеяться над старостью, но эти отставные классные дамы-смолянки, собравшиеся в церкви, были не смешны, а ужасны. Некоторых, полупарализованных, при-

везли в колясках на колесиках, другие приковыляли сами, опираясь на клюку. Я, уже прочитавший всего Гоголя, сейчас же вообразил себя Хомой Брутом из «Вия», читающим Евангелие над мертвой ведьмой — юной паненкой.

Монотонный голос священника превратился как бы в мой собственный. Страшное оцепенение охватило меня. Я старался ни на кого не глядеть, даже на Диму, стоящего напротив. Все вокруг стало нереальным, призрачным, мне казалось, что я умер и вознесся в своем стихаре со свечой в руках прямо на небо. И вдруг здоровый шматок расплавившегося воска упал с верхушки свечи мне на руку, и я едва удержался от неуместного взвизга.

Так начались мои мучения.

Воск продолжал таять и падать. Его жирные шлепки обжигали мне руку. Отломить восковой наплыв на свече я не мог потому, что не удержал бы тяжелую свечу одной рукой. Я стоял и беззвучно плакал, орошая каждый новый шлепок горячего воска на руки горючими слезами. Хоть бы скорей кончил читать Евангелие старик священник! Нет, он читает и читает. Бросить свечу и с ревом убежать из церкви? Нельзя!.. А тут снова — шлеп, шлеп на руку!

Выручила меня одна милая старуха, явная колдунья, согнутая годами в дугу. Она показала на меня глазами дьякону, он подошел и спокойно отломил проклятый наплыв воска — источник моих великих мучений за веру.

Наконец священник кончил чтение и, видимо тоже смертельно усталый, пошел в алтарь.

Перед нашим боковым входом в святое место произошло то, чего я боялся: я заторопился, наступил на подол стихаря, споткнулся и... растянулся на полу во весь рост вместе со своей свечой. Позади, в церкви, возмущенно зашелестели и заахали страшные старухи.

Я не стану рассказывать, как нас отчитывал священник, как унизительно рыдал, вымаливая себе прощение, маленький тапир, к тому же уличенный дьяконом в хищениях кагора.

— Батюшка, ради бога... только не говорите матушке! — повторял Витя Древин, взасос целуя руку священника.

— Вот уж поистине древо неразумное! — сказал священник.— Изыди! И на глаза мне не смей больше показываться!

Мы с Димой дома обо всем рассказали. Отец был очень недоволен тем, что мама разрешила нам прислуживать в церкви. Нас же беспокоило другое: дойдет эта история до нашего гимназического начальства или не дойдет? Не дошла! Старик священник из Смольного института не наябедничал, может быть, не захотел связываться, а может быть, забыл или не придал этой истории такого значения, какое придавали ей мы.

Обожженную руку отец мне вылечил. Он был большим насмешником и долго еще поддразнивал меня:

— Эй ты, великомученик Ленька, иди сюда, покажи дневник, сколько ты там троек нахватал!

К закону божьему я с тех пор охладел и перестал увлекаться историями из жизни мучеников. Знаем, сами мучились!

Двойной осел

Год 1913-й был непростой: в стране отмечали 300-летие дома Романовых. Правительственные круги делали все, чтобы превратить официальные торжества во всенародные. Наша гимназия — 3-я Санкт-Петербургская,— в которой учились сыновья многих высших столичных чиновников и титулованной знати, тоже собиралась достойно встретить монархический праздник.

Стало известно, что в актовом парадном зале гимназии состоится большой вечер для учеников и их родителей, на котором произнесут речи сам попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, а возможно, и сам господин министр народного просвещения, сам архиерей и, конечно, наш директор, дряхлый, безобидный старец Козеко. После торжественной части будет художественная. Гимназисты старших классов готовят для чтения в лицах «Царя Иудейского» — драму в стихах, принадлежащую перу К. Р. — Константина Константиновича Романова. Двоюродный дядя царя Николая Александровича, президент Императорской Академии

наук, Константин Романов, кстати сказать, не был бездарным виршеплетом-графоманом. Нет, это был несомненно поэт, но эпигон, да еще запоздалый; в его строках слышались отзвуки поэзии Майкова, Полонского, Фета. Но он же сочинил хорошую солдатскую песню: «Умер бедняга в больнице военной», что делает ему честь.

На торжественном вечере мы, младшеклассники, будем выступать с чтением — тоже в лицах! — басен Крылова.

Художественную часть праздника готовил наш классный руководитель и преподаватель русского языка Василий Васильевич С-ский; страстный театрал, он мечтал стать актером, но что-то у него не получилось, не вышло, и пришлось ему остаться преподавателем русского языка в младших классах казенной гимназии. Но его явные пристрастия и тайные помыслы принадлежали театру. И только театру!

Гладко выбритый, без усов и бороды, краснолицый и широкоротый блондин, он частенько появлялся в гимназии не в форменном синем сюртуке с золочеными пуговицами, а в щеголеватом штатском костюме с белым платочком в нагрудном кармане пиджака. И обязательно какой-нибудь верзила-второгодник, которому до зарезу нужно было исправить свою двойку по русскому письменному на троечку, на большой перемене лисьим шагом подбирался к Василию Васильевичу и говорил, изображая всем своим существом преданность и робость:

— Василий Васильевич, извините, можно мне у вас спросить?..

— Что вы хотите у меня спросить, Сидоров?

— Василий Васильевич, артист императорских театров Ходотов ваш родственник?

— Нет. А почему, Сидоров, вы решили, что Ходотов мой родственник?

— Вы с ним очень похожи... Как две капли воды!

Василий Васильевич расцветал в самодовольной улыбке, и... двойка превращалась в тройку! Не всегда, но бывало, что и превращалась. Неглупый был человек Василий Васильевич С-ский, а вот поди ж ты — клевал на такую дешевую приманку, словно уклейка на дохлую муху!

У нашего классного наставника была еще одна дурная слабость: он среди подопечных первоклассников выделял своих любимчиков. С ними он был неизменно добр, мил, не скупился на ласку и, поглаживая по голове или отечески шлепая по заду, называл их не по фамилиям, а по именам. С остальными он был малодоступен и строг. Но ведь дети есть дети, и ласки хочется каждому — и любимчику и нелюбимчику.

Я попал в любимчики, потому что знал наизусть много стихотворений Пушкина, Лермонтова, Жуковского, знал басни Крылова и, читая их «с выражением», чем-то потрафил актерскому вкусу Василия Васильевича. По этой причине я был включен в число мастеров художественного слова, допущенных к участию на общегимназическом вечере в честь 300-летия дома Романовых. Я должен был читать от автора басню Крылова «Квартет», а в басне «Любопытный» изображать первого приятеля, того, который начинает диалог: «Приятель, дорогой, здорово! Где ты был?» «Любопытного» Василий Васильевич задумал показать в костюмах. В каком-то театре у знакомого костюмера он достал для нас напрокат цветные фраки, панталоны, манишки и галстуки с пышными бантами — все это детских размеров. Появиться на эстраде в актовом зале перед глазами папы и мамы в песочного цвета фраке и в панталонах со штрипками — боже мой, как это было заманчиво и прельстительно!

Под режиссерским руководством Василия Васильевича мы репетировали наши басни после уроков как бешеные!

«Квартет» режиссерски решался просто: участники чтения все вместе выходят на сцену, и я начинаю читать басню, широким жестом представляя каждого почтенной публике.

«Проказницу-Мартышку» читал Юра Каффафов — хорошенький, как ангелок, смуглый черноглазый дьяволенок, полугрек-полуармянин, мучитель и гроза всех наших преподавателей. Ему все сходило с рук: папаша Юры Каффафова был известный душитель революционного движения — всесильный директор департамента полиции. Грешным делом, я теперь, задним числом, думаю, что только чувство раболепия перед сильными мира сего заставило нашего классного наставника сде-

лать своим главным любимчиком этого избалованного и развращенного мальчишку, единственного сына главного сыщика империи.

Осла изображал второгодник из третьего «Б» класса — Павел Сукатов, — он был на голову выше всех других участников квартета, лицо тупое, уши красные, большие, оттопыренные, голос ломающийся. Никто не хотел быть Ослом в «Квартете», и Василию Васильевичу пришлось «в административном порядке» назначить Сукатова Павла на роль Осла.

Козлом стал Сева Завалишин — изящный, бледный, типичный петербургский мальчик, сын крупного инженера-путейца, а косолапым Мишкой — Саша Субботин, отпрыск придворного попа, добродушный, краснощекий смешливый толстяк; оба из нашего класса. Соловья — по совместительству — читал тот же Юра Каффафов, Василий Васильевич, по-видимому, считал, что превращение проказницы-Мартышки в рассудительного Соловья усилит комический эффект знаменитой басни. А может быть, ему и тут хотелось угодить Юриному папаше? Не знаю! Не знаю!.. Участники «Квартета» получили инструменты и смычки, и когда я произносил: «Дерут, а толку нет!» — действительно так драли, что хотелось, зажав уши, бежать сломя голову вон из гимнастического зала, где происходили наши репетиции.

На генеральную репетицию Василий Васильевич пригласил публику. В гимнастический зал набралось гимназистов — не продохнуть. И тут произошло неожиданное. Как только я сказал: «Проказница-Мартышка», представив публике Юру Каффафова, который тут же скорчил забавную рожу, в зале засмеялись. Василий Васильевич просиял: его режиссерская выдумка «дошла». Но когда я, продолжая читать свой текст, сказал: «Осел», показав на Сукатова Павла с его глупой, напряженной физиономией и оттопыренными ушами, публика стала хохотать так, что я невольно остановился, не дойдя до Козла и косолапого Мишки, которые, забыв обо всем, хохотали вместе с гимнастическим залом.

Наш режиссер нахмурился, постучал массивным перстнем в бок деревянного «коня»,— Василий Васильевич стоял подле него как спешившийся полководец, наблюдающий за ходом сражения, и громко, строго сказал:

— Всем — тихо! Леня, читай сначала!

Я начал читать. И Осел снова вызвал хохот, уже гомерический. Публика не просто хохотала, она стонала, визжала, хрюкала и кудахтала.

Василий Васильевич гневно выкрикнул:

— Всем посторонним — выйти из зала! Остаться только артистам.

Продолжая хрюкать и кудахтать, давясь смехом, посторонние повалили из зала в коридор.

Когда зал опустел, Сукатов Павел, пустив от волнения петуха, жалобно сказал:

— Василий Васильевич, я не хочу быть Ослом!

— Не говори глупостей! Ты — хороший Осел, и ты им останешься!

— А почему они так смеются, если я хороший?

— Запомни, Сукатов, ты сейчас не ученик третьего «Б» класса, ты — артист, исполнитель комической роли. Ты должен радоваться тому, что они смеются, а не огорчаться!

— Не хочу я радоваться! — с чисто ослиным упрямством бубнил Сукатов Павел из третьего «Б» класса.— Не хочу быть исполнителем Осла, пускай Завалишин будет Ослом, а я — Козлом.

— Я не буду Ослом! — твердо сказал Сева Завалишин.

Понимая, что найти замену Сукатову на роль Осла после того, что произошло, да еще накануне вечера, невозможно, Василий Васильевич пошел на компромисс.

— Леня,— обратился он ко мне, — ты будешь читать так: «Проказница-Мартышка» — тут ты покажи жестом на Юру (Юра Каффафов с готовностью скорчил рожу), а Осла и Козла пропусти, то есть ты их назови, но жестов не делай, а на косолапого Мишку — на Сашу — покажи.

Василий Васильевич продемонстрировал свое новое режиссерское решение начала «Квартета».

— Понял, Леня? Не подчеркивай ни Осла, ни Козла, и все будет в порядке. Ну-ка, сделай так, как я показал.

Я сделал.

— Прекрасно! — сказал Василий Васильевич.— Так и закрепим. На сегодня — все. Вы свободны!

Настал праздник. Мы, участники художественной части, собрались в комнате, примыкавшей к актовому залу. Дверь в зал была открыта. Актовый зал, освещенный всеми хрустальными люстрами, сверкал и искрился. Военные, чиновные и штатские папы в эполетах и погонах на плечах, в вицмундирах и полуфраках, некоторые с алыми орденскими лентами на груди через плечо, в черных сюртуках и демократических пиджаках — таких было немного, и мамы в меховых накидках, в пышных прическах, с бриллиантовыми сережками в ушах чинно жужжали на своих местах. Я попытался найти глазами маму и свою любимую тетю Веру — ее сестру (папа на вечере в гимназии не мог быть — он дежурил у себя в госпитале), но не нашел.

Выступили с речами: попечитель — чудовищно толстый господин с красным лицом обжоры и ловеласа, и архиерей — аскетического вида старичок, с елейно тихим голоском. Министр не приехал. Директор Козеко закончил торжественную часть кратким словом.

Художественная часть началась с гимна «Боже, царя храни» — его спел гимназический хор под управлением учителя пения. Зал слушал гимн стоя. Потом на эстраду вышел Василий Васильевич, красный и потный от волнения, и объявил состав участников чтения «Царя Иудейского».

Драму в стихах высочайшего автора приняли хорошо, но несколько сдержанно. Подошла очередь дедушки Крылова. Василий Васильевич объявил «Квартет», и наша пятерка выстроилась на сцене. Публика оживилась, заулыбалась, — наверное, мы, в особенности Мартышка, Осел, Козел и косолапый Мишка с инструментами в руках, были очень забавны.

Больше всего я боялся в решающий момент забыть текст. Но я его не забыл. Я взглянул на Василия Васильевича, теперь уже не красного, а ярко-багрового, он — на всякий случай! — стоял тут же на эстраде, у ступеней, ведущих в комнату, где мы ожидали своего выхода. Василий Васильевич кивнул мне и прошипел:

— Начинай!

Довольно бодро я начал: «Проказница-Мартышка!» — и заученным жестом представил публике Юру

Каффафова. Юра скорчил свою хорошо отрепетированную рожу. Публика засмеялась, и громче всех Юрин папаша — низкорослый, черноволосый и синещекий брюнет в черном вицмундире, сидевший в первом ряду рядом с директором Козеко. Директор тоже старчески хихикнул.

— Осел! — продолжал я, не показывая жестом, как было у нас срепетировано, на Сукатова Павла, и вдруг — сам не знаю почему, наверно, от ужасного волнения? — сделал широкий жест и, показав на Севу Завалишина, повторил: — Осел!

— Ого! — сказал кто-то в зале. — В «Квартете», оказывается, два Осла!

— Я не Осел! — с обидой сказал мне Сева Завалишин.— Я — Козел. Осел — он! — И таким же широким жестом показал на бедного Сукатова Павла.

Чинный актовый зал разразился хохотом почти таким же, как два дня назад — гимнастический.

— Читай сначала, — услышал я змеиный шип Василия Васильевича.

Дрожащим голосом я начал читать басню снова. Но, конечно, мы имели успех, и моя ошибка пошла нам на пользу. Василий Васильевич смягчился и даже позволил мне выйти на сцену в «Любопытном», одетым в песочного цвета фрак и панталоны с штрипками. Одна штрипка оказалась оторванной, я наступил на нее, выходя на сцену, чуть было не растянулся на помосте, но и эта моя оплошность лишь подогрела публику. Тем не менее из состава любимчиков Василия Васильевича я выбыл, а Сукатов Павел, которого после происшествия на вечере в честь 300-летия дома Романовых товарищи по классу прозвали «двойным ослом» или «ослом в квадрате», здорово отдул меня на большой перемене, заманив в туалет для «серьезного разговора». Сукатов Павел считал, что носителем обидного прозвища он сделался по моей вине и дом Романовых тут ни при чем. Юра Каффафов вскоре вовсе покинул нашу гимназию— перевелся в училище правоведения, а Сева Завалишин вместе с родителями переехал из Петербурга в Москву. Наш квартет в полном соответствии с басней Крылова не пошел «на лад»!

День рождения

I

Каждую весну мы с мамой уезжаем на все лето до осени в Тверскую губернию, в Вышневолоцкий уезд, в милое Молдино, и возвращаемся в Петербург лишь к началу учебного гимназического года.

Молдино — это имение жандармского генерала Гершельмана. Ему принадлежат сотни десятин земли, дивный парк с вековыми липами, дом-дворец с белыми колоннами и резными верандами. Он владеет большим доходным стадом породистых коров и великолепным выездом вороных траурных рысаков, запряженных в сверкающую лаком коляску. На козлах коляски, как Саваоф на облаке, восседает бородатый и пузатый кучер в малиновой шелковой рубашке, в черной жилетке, а на голове — маленькая, вроде как бы дамская, шляпа с перышками. Стоит лишь ему шевельнуть вожжами, как послушные рысаки, прядая ушами, подхватывают легкий экипаж и вслепую мчатся по дороге: коренник высоко, гордо держит красивую голову, грудь—навстречу ветру; пристяжные свиты в кольцо. Позади коляски — пыль столбом.

Встречные мужики, завидев его, загодя снимают шапки, бабы сторонятся, кланяются в пояс.

Мы живем, конечно, не в самом Молдино. У проселочной дороги, на берегу речки, впадающей в прелестное молдинское озеро, стоит старый, посеревший от времени и дождей помещичий дом. Когда-то в нем жил «господний раб и бригадир» местный помещик Пыжов, «в окно глядел и мух давил!». Умирая, он завещал дом и все свое добро своей крепостной наложнице, замечательной, писаной красавице. Красавица эта — влюбленный бригадир перед кончиной дал ей еще и «вольную»— после смерти благодетеля вышла замуж за крестьянина из деревни Марьино, что тоже рядом с Молдином. Крестьянин стал заниматься мелкой торговлишкой, выбился в мещане. Сын этого мещанина, отставной вахмистр-кирасир Николай Васильевич, рыжебородый силач саженного роста. Его боялись лошади. Когда он подходил к коню, у того по коже пробегала дрожь. Вот

он-то и сдавал внаем на все лето отцу старый пыжовский дом.

Мы, городские мальчики, гимназистики, думали тогда, что Николай Васильевич такой же «мужик», как и те оборванные нищие мужики, которые приходили из дальних бедных деревень показаться «питерскому дохтуру», а если его не было (отец приезжал в Молдино на короткое время — в отпуск), то — маме: «Ты, Мария Ивановна, люди бают, лучше, чем твой муж, лечишь».

Но сейчас я думаю иначе.

У Николая Васильевича было двенадцать десятин земли, доходный дом-дача, в котором мы жили, второй дом — изба-пятистенка, в которой он сам с семьей жил крестьянским обиходом, две лошади, две коровы, овцы, свиньи. На сенокос и на жатву Николай Васильевич брал батраков. Запомнилась мне такая сценка: Николай Васильевич в синей выгоревшей рубахе, распояской, босой стоит у сарая и бранится с низкорослым жалким стариком в домотканом армяке и в лаптях. Бранятся они громко, яростно, неприличные слова, смысл которых мне неясен (но то, что они неприличные, я уже знаю), слетают с их губ, как птички, свободно и легко.

Старик в лаптях, проглотив судорожный короткий взрыд, говорит:

— Подавись ты моим двугривенным, кровосос! — и бросает под ноги Николаю Васильевичу медные и серебряные монеты. Выругавшись, Николай Васильевич скрывается в сарае. Уходит и старик в лаптях. Потом возвращается и долго ползает на коленях в пыли, собирая свои деньги.

Мы любили Молдино. Здесь все было родное, свое, очень русское. Нежная сладость сирени, вливавшаяся в открытые окна, воскресный перезвон колоколов в церкви в Трети — в большом селе по дороге из Молдина на станцию Еремково. И это удивительное, легкое, бледно-голубое небо!

«Тверская скудная земля!» — не могу без волнения читать эту пронзительную ахматовскую строку.

После долгой и трудной гимназической зимы с ее муштрой, с ее всякий раз неожиданными и поэтому чрезвычайно опасными вызовами к доске, с ненавистными мне письменными работами по арифметике, с эк-

заменами, с ангинами, с обязательным говением перед пасхой — как вольно и весело жилось нам в Молдино!

Мы с Димой купались в речке до одури, до синевы, ходили в дальние походы по озеру на собственной лодке «Диана», собирали грибы и ягоды. Каждый вечер — это было как ритуал — с детьми Николая Васильевича — с Ванькой, с рыжей, как огонь, Настей и маленьким Аркашей — бежали к забору, отделявшему гершельмановские владения от надела соседа, смотреть на генеральское стадо. По узкому, выбитому коровьими копытами до железной твердости выгону, огороженному жердями с двух сторон, стадо, мыча и пыля, возвращалось с дальних пастбищ на вечернюю дойку.

Пастух и его подручные оглушительно «стреляют» длинными веревочными кнутами. Величественно проносят мимо нас свое чудовищное вымя коровы-рекордистки. А впереди стада, с генеральской, явно жандармской важностью, медленно и свирепо шагает могучий кровавоглазый бык, о котором по всей округе рассказывают страшные легенды.

Среди деревенских ребятишек приятелей у нас не было. Мы были для них чужими: барчуки, дачники. Но вокруг озера и по берегам его было разбросано много имений — старых дворянских гнезд. В имениях этих жили их владельцы,— как правило, потомки оскудевших родов или наниматели-дачники из Питера, обеспеченные люди со своими сыновьями и дочками — «барышнями нашего круга».

Рядом с деревней Марьино находилось имение матери В. В. Андреева — внучки героя Отечественной войны 1812 года Софьи Михайловны Сеславиной. По дороге со станции Еремково в Молдино мы проезжали мимо Милюковки — родового имения кадетского лидера. Хозяйством местные дворяне, как правило, не занимались — просто жили здесь летом. Гершельман и еще несколько таких же, как он, предприимчивых людей были исключением. Но российский капитал проник уже и сюда, в тверскую глушь. Водочный король Смирнов, создатель всемирно известной «смирновки», купил тут чье-то имение и сделал из него бог знает что! Я помню, как мы всей семьей ездили в гости к Смирнову на день его рождения. Водочный король закатил королевский пир на весь мир. За стол село человек сто, не

меньше. Смирнов — бритый господин с бледным пухлым лицом, с большим животом, в русской шелковой рубахе — пояс с кистями — ходил вокруг стола, показывал ананас, выращенный на той же «тверской скудной земле», в его, смирновской, оранжерее.

В 1948 году, после войны, я побывал в Молдино. Теперь так называется большой, богатый, знаменитый на всю республику колхоз, объединивший ближние и дальние деревни, расположенные по берегам молдинского озера. Председательствует здесь тезка покойного писателя — Евгений Петров, бывший офицер Советской Армии, местный уроженец. О молдинском колхозе и о его бессменном талантливом председателе не раз писали. Петров рассказал и мне много интересного из истории колхоза, о своей работе в комбеде, о первых молдинских коммунарах, о кровавых схватках с кулачьем на заре революции. Но это уже другая тема, а я и так расписался, растекся мыслью по древу воспоминаний и никак не соберусь подойти к головному — к Авдотье! Но как же не сказать еще, что контора правления молдинского колхоза в 1948 году помещалась в старом пыжовсом доме, в том, где мы жили тридцать четыре года тому назад. Я сидел в нашей бывшей детской комнате, видел в окно белую ленту дороги на Леганок и слушал доклад Петрова для колхозных активистов о преодолении пережитков прошлого в сознании людей. Если грусть, которая охватила меня, как только я вошел под сень дома моего «босоногого детства», нужно считать пережитком прошлого, то преодолеть ее я тогда так и не сумел.

II

Пора, пора, однако, вернуться в тревожное лето 1914 года. Тогда я, конечно, не понимал смысла ходячего выражения: «Запахло порохом!» А порохом действительно запахло, и он, этот пороховой запах, проникал всюду, во все поры жизни, прежде всего в наши детские игры. Мы играли только в войну — с утра до вечера. Мы швырялись легкими камешками и комьями сухой пахотной земли, рубились деревянными мечами, делясь на Австро-Венгрию, Германию, Сербию и Черногорию. Никто не хотел быть Австро-Венгрией, но все хотели быть Чер-

ногорией, кроме Насти,— этой рыжей вялой девочке все равно было кем быть.

В то лето в великом множестве расплодились крысы, и это тоже было не к добру, так все говорили, и старые и малые. С крысами мы тоже воевали жестоко и беспощадно, плененных врагов уничтожали безжалостно.

По вечерам крысы вылезали из своих нор под домом и пробирались под окно кухни полакомиться отбросами, которые выбрасывала ленивая наша кухарка. Мы с Димой, держа в руках чайники с крутым кипятком, таились у раскрытого кухонного окна, хищно ожидая их появления. Крысы, громадные, почти с кошку величиной, с длинными, внушающими нам мистический ужас и отвращение сильными хвостами, начинали свою мерзкую суетню под окном. Тогда мы сверху лили им на спины кипяток, наслаждаясь их истошным и злобным визгом. А ведь мы не были злыми мальчиками, мы обожали собак, кошек, птиц, никогда их не мучили и не обижали, так же как и других животных. Но крысы... тут было «все позволено!». Впрочем, кипяток был изобретением кухарки, и когда мама узнала о наших вечерних развлечениях с крысами, она нам их запретила.

В то же лето меня чуть не убил Есаул — упитанный гнедой мерин. Есаул и Манька — вороная высокая и худая кобыла Николая Васильевича — возвращались с водопоя в конюшню. А мы, ребята, вооружившись длинными прутьями, погоняли их, крича и прыгая, как бесенята. У всех были длинные прутья, а я взял коротенький, подбежал к невозмутимо шагавшему Есаулу сзади и замахнулся. И вдруг увидел над собой мелькнувшее на одно мгновение в воздухе лошадиное копыто. Если бы не Дима, успевший рвануть меня за рубашку на себя, добрый мерин или убил бы меня на месте, или изуродовал. Удара у него не получилось, но шипом подковы он сорвал у меня с головы маленький кусочек скальпа. Я залился кровью. Меня увели в дом, Николай Васильевич запряг в тарантас того же Есаула и ту же Маньку и помчался за земским врачом Морковиным.

Морковин — загорелый, бородатый, в чесучовом пиджачке и косоворотке, типичный чеховский деревенский врач — осмотрел рану, продезинфицировал ее еще раз после мамы, забинтовал мою бедную голову, ска-

зал: «Засохнет, как на собаке», выпил рюмку водки, закусив жаренными в сметане окуньками, и укатил на своей таратайке за пятнадцать верст, под Брусово, где кто-то кому-то в пьяной драке вышиб глаз.

В 1948 году там же, под Брусовом, на вывеске сельской больницы я увидел его имя: «Больница имени доктора Морковина».

Старый земский врач оставил после себя долгую и добрую память.

III

Приближался день моего рождения — 20 июля по старому — 2 августа по новому стилю. Порохом запахло еще сильнее. Грянул выстрел Гаврилы Принципа, сербского гимназиста, застрелившего в Сараево австрийского эрцгерцога. Мы им восхищались: гимназист, а вот поди ж ты!

На другом берегу озера, напротив Леганка, в Гранове, жила летом семья крупного инженера-путейца из Петербурга: муж, жена и две девочки. Где-то мама познакомилась с этой семьей и послала нас — Диму и меня — с визитом в Граново. Маме грановские девочки понравились, ей хотелось, чтобы мы с ними подружились. Мы должны были пригласить их в гости к нам на день моего рождения.

Вместо старых форменных гимназических брюк и ситцевых застиранных рубашек мы надели новенькие матроски с синими воротниками, синие короткие штаны, натянули на ноги длинные желтые чулки и вдруг превратились в приличных, воспитанных мальчиков, чему сами несколько удивились.

В Граново мы прибыли на своей «Диане», пришвартовались у купальни и пошли по песчаной дорожке через богатый парк к барскому дому.

Грановские девочки оказались девицами очень чинными, очень благонравными и очень скучными на наш избалованный вкус, в крахмальных белых платьицах, с пышными бантами в косах.

После чая со сладким пирогом мы пошли играть в парк, и тут выяснилось, что дружбы у нас с грановскими девочками, пожалуй, не получится.

Старшая спросила у Димы:

— Вы читали «Княжну Джаваху» Чарской?

— Читал.

— Вам понравилась?

Как могла понравиться Лидия Чарская Диме, когда он уже читал Толстого и украдкой Достоевского?

Дима сказал со снисходительной усмешкой:

— Плаксивая дамская чушь!

Старшая грановская девочка обиделась так, как будто не Лидия Чарская, а она была автором нашумевшего романа для детей.

— Как вы можете так говорить! Это моя любимая книжка!

Дима пожал плечами:

— Очень жаль!

Тем временем меня терзала младшая:

— Какой танец вы больше всего любите танцевать?

Я ответил довольно тупо:

— Мне все равно!

— Значит, вы ничего не умеете танцевать? А почему у вас так много веснушек на носу?

Я покраснел и с трудом выдавил из себя:

— Они к зиме пройдут.

Маленькая черноволосая ехида со стройными ножками в голубых красивых носочках сказала, светски улыбаясь:

— Ой, как долго ждать!

Мы для приличия поиграли с грановскими девочками в крокет, передали мамино приглашение и поспешили убраться восвояси.

Настало 20 июля. На чай с традиционным черничным пирогом съехались гости — окрестные дачники со своими детьми. Грановские девочки прибыли в коляске со своей гувернанткой — худощавой дамой в платье с кружевным воротником, закрывавшим ее длинную шею, в пенсне на красноватом крупном носу.

Моя ехида, нарядная и прекрасная, сунула мне в руки коробку дорогого шоколада и объявила:

— Это вам подарок. На день рождения. От нас.

Я смутился и пролепетал чуть слышно:

— Мерси — спасибо!

Грановские девочки переглянулись, а их гувернантка заметила строго:

— Надо что-нибудь одно говорить, мальчик, или «мерси», или «спасибо».

Они гордо, всей троицей стали подниматься по ступенькам веранды, а я плелся сзади со своим подарком, чувствуя себя почему-то униженным и оскорбленным.

После чая мы пошли на «гимнастику», так мы называли врытые в землю у нас в палисаднике столбы с перекладиной. Здесь каждое утро мы с Димой делали упражнения на кольцах и трапеции. Желая поразить грановских воображал, я несколько раз подтянулся на кольцах, потом повис, как обезьяна, головой вниз на трапеции, потом сел на нее и, держась за веревки руками, стал сильно раскачиваться. И вдруг, когда трапеция со мной оказалась на высшей точке своего подъема, столбы рухнули. Они рухнули, на мое счастье, в противоположную сторону, а меня неведомая сила сорвала в это же мгновение с деревянной палки, на которой я так победоносно сидел, и сбросила вниз на землю. У меня загудело в голове от удара, но я ничего себе не сломал и не повредил. Маленькая грановская ехида мгновенно помчалась на дачу, влетела в гостиную, где сидели взрослые гости, и радостно сообщила маме:

— Ваш Леня сломал столбы с гимнастикой!

Мама и гости выбежали на веранду и увидели меня целого и невредимого. На всякий случай мама стала бранить меня, но тут Дима закричал: «Авдотья идет!» — и всем стало не до меня.

По дороге, уже миновав ворота гершельмановского имения, направляясь к нашему дому, шагала, широко размахивая длинным батожком, Авдотья — сельский почтарь. Ей было под пятьдесят. У нее было суровое, сухого иконописного склада темное лицо с глубоко запавшими синими, как цветущий лен, глазами. Каждый день, не зная выходных, она пешком проходила тридцать, если не больше, немеренных верст, разнося письма, телеграммы, газеты. Ходила Авдотья летом и осенью босая. На ее ноги — черные от грязи, въевшейся в поры ороговевшей кожи, разлапистые, разбитые, сношенные, как те старые лапти, которые она обувала лишь с первым снежком, — страшно было смотреть.

Вот Авдотья подошла и остановилась у нижней ступеньки нашей веранды. Стоит и смотрит на столпившихся наверху дам и господ, на их нарядных детей. Что-то было в ее взгляде новое, какие-то несвойствен-

ные ей суровость и осуждение, и мама, как человек нервный и чуткий, первая почувствовала это и спросила дрогнувшим голосом:

— Что вы нам принесли, Авдотья?

— Войну! — сказала Авдотья и достала из сумки газету.

Кроме газеты с царским манифестом, Авдотья принесла нам еще телеграмму от отца. Он призван в армию из запаса, получил назначение в часть, приедет в Молдино на один день проститься с нами.

Авдотья ушла, гости стали разъезжаться.

Через два дня приехал отец в новенькой офицерской форме, непривычно серьезный. Оказалось, что он назначен на Кавказский фронт. Через пять лет мы похоронили его в Ростове-на-Дону. Он умер от сыпного тифа.

Теперь я понимаю, что в тот теплый июльский сияющий день — день моего рождения — оборвалось мое детство. Река времени, которая текла по равнине жизни медленно и плавно, вдруг прянула как бы с обрыва и понеслась с непостижимой, сумасшедшей скоростью через камни и пороги.

В ее бешеной стремнине разные люди с их разными судьбами закружились, как щепки. Одним стремнина принесла гибель, другим новое сознание.

Наверное, поэтому с такой неизгладимой отчетливостью запомнилась мне и молдинская Авдотья. Черные разбитые ноги чуть расставлены, узловатые пальцы сжимают длинный, тонкий батожок, синие, глубоко запавшие глаза смотрят грозно и скорбно.

— Что вы нам принесли, Авдотья?

— Войну...

Как я был учителем

I

Я был учителем сорок семь лет тому назад. Мне шел тогда пятнадцатый год, и я сам учился в гимназии, но тем не менее я настаиваю на слове «учитель».

Репетитором меня нельзя было считать. Репетиторством занимались гимназисты-старшеклассники, они имели дело с уже готовым материалом — с отстающими оболтусами из младших классов, которых они за умеренное вознаграждение вытаскивали за уши из двоечной трясины.

Мне же пришлось подготавливать к поступлению в женскую гимназию некое первозданно-очаровательное существо: два огромных белых банта в тощих каштановых косичках, внимательные, загадочные, как у маленького Будды, черные глаза с мерцающими в них искорками многих тысяч «почему?» и капризный алый ротик закормленного, избалованного и заласканного единственного ребенка.

Звали это существо Люсей.

Учителем я стал не по призванию, а по нужде. Мы с матерью жили тогда в маленьком кубанском городке, где застряли потому, что из-за гражданской войны на юге России не могли вернуться в родной Петроград. В тот год умер мой отец — военный врач, мы стали испытывать материальные лишения, и тогда кто-то из гимназических учителей, желая помочь нам, нашел для меня урок — вот эту самую первозданную Люсю.

Я храбро постучал в дверь провинциально-уютного одноэтажного кирпичного домика со ставнями, которые закрываются не изнутри, а снаружи. Дверь мне открыл Люсин папа — агент страхового общества «Россия» — немолодой, пузатый, щекастый господин. Он был похож на важного складского кота при хорошем мышином деле.

— Что скажете, молодой человек? — спросил он, глядя на меня сверху вниз.

Краснея, я объяснил ему, кто я и зачем пришел. Он усмехнулся в рыжеватые усы и сказал, пожав плечами:

— Ну, тогда пожалуйте в зало!

Боже мой, сколько оскорбительного скептицизма, даже презрения к моей персоне было в этом пожатии плечами, в этих чуть шевельнувшихся от усмешки котовых его усах! Каким-то внутренним зрением я увидел со стороны себя и все свои многочисленные изъяны: свою мальчишескую худобу, штопку на заду черных гимназических брюк, стоптанные башмаки, застиранную короткую белую блузу, перетянутую лаковым, с

трещинами, поясом, на медной пряжке которого еще сохранились цифра «3» и буквы «П» и «Г» — Третья петроградская гимназия.

Мы вошли в небольшую комнату с классически-мещанским убранством: коврики, салфеточки, полочки с фарфоровыми слониками, фикусы в кадках, семейные фотографии каких-то на диво откормленных попов в богатых рясах и венские стулья по стенам. Мы сели.

— Мать! — позвал Люсин папа.

В комнату вплыла низенькая, полная, румяная женщина с легкой сединой в пышной прическе. Рукава ее затрапезного платья были высоко засучены. Вместе с ней в комнату вплыл вкусный запах вишневого варенья.

— Мать, это новый Люсин учитель! — сказал Люсин папа, кивнув в мою сторону с той же едва уловимой усмешкой.

Я встал и, шаркнув ногой, поклонился «Пульхерии Ивановне», как я мысленно окрестил Люсину маму.

— Худенький какой! — сказала Люсина мама, обращаясь не ко мне, а к мужу.— Ты уж, отец, сам обо всем договаривайся с ними, у меня варенье варится.

Она удалилась. Люсин папа сказал:

— Вас как зовут, молодой человек?

— Леонид.

— А по батюшке?

— Сергеевич!

— Так вот-с, Леня,—сказал Люсин папа, играя золотой цепочкой своих жилетных часов,— готовить Люсеньку вы будете по всем предметам, то есть: русский, арифметика и закон божий.

— И закон божий? — вырвалось у меня.

— А почему, Леня, вас так пугает закон божий? — подозрительно прищурился Люсин папа.

— Не пугает, но она же у вас, наверное, знает основные молитвы?

— Нетвердо. Хотелось бы, чтобы и Ветхий завет... в общих чертах. Таинства непорочного зачатия можете не касаться... в подробностях.

О материальной стороне мы договорились быстро, потому что Люсин папа просто продиктовал мне свои условия: заниматься ежедневно, кроме воскресенья, получать я буду столько-то в месяц. Сумму Люсин папа

назвал приличную, и я подумал, что быть учителем очень выгодно.

Вдруг в комнату впорхнула черноглазая девчушка в коротком платьице, с загорелыми ножками в ссадинах и царапинах, с белыми бантами в косичках. Двумя пальчиками она держала в вытянутой руке черно-желтую, как георгиевская орденская лента, свежепойманную бабочку.

— Познакомься, Люсенька, это твой учитель! — сказал Люсин папа.— Его зовут Ле...— тут он запнулся,— Леонид Сергеевич. Подойди, деточка, к ним, поприветствуй!

Люся приблизилась ко мне и, не выпуская из пальцев орденоносную бабочку, сделала мне книксен.

— Леонид Сергеевич, скажите, пожалуйста,— сказала она, изучающе глядя на меня в упор,— почему у бабочков нет детей?

Я ответил, надо признаться, не очень изобретательно:

— Потому что им некогда с ними возиться.

— А почему им некогда возиться?

— Потому что надо летать, добывать себе пищу.

— А зачем им пища? У них же зубков нету!

— Они питаются особой пищей.

— Какой?

А какой пищей в самом деле питаются бабочки? Я чуть покраснел, и Люся это заметила. В глубине ее черных глаз зажегся огонек, как мне показалось, такой же, как у ее папы, скептической усмешки. Но тут в наш разговор с Люсей, на мое счастье, вмешался Люсин папа:

— Потом, доченька, все узнаешь у своего учителя. Отпусти насекомое и ступай пока играться...

Послушная Люся выпустила бабочку. Бабочка подлетела к окну и, трепеща крылышками, забилась о стекло. Я поднялся и стал прощаться.

II

На следующий день в точно назначенный час мы уединились с Люсей в ее комнате, она уселась за низкий столик, я устроился в мягком кресле напротив. Начать я решил с русского языка.

— Какие стихи ты знаешь?
— Птичку божию.
— Ну-ка, прочти.
Люся стала проникновенно декламировать:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долгосвечного гнезда...

— Нужно говорить «долговечного», Люся, а не «долгосвечного»!
— Почему долговечного?
— Потому что так Пушкин написал!
— А мне больше нравится, когда долгосвечное.
— Мало ли что тебе нравится! Надо учить стихи так, как они написаны. Прочти еще раз!
Люся вперила свой взор в потолок и с той же проникновенностью продекламировала:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долго... свечного гнезда!

Я остановил чтицу и сказал строго:
— К завтрашнему дню ты выучишь «Птичку» заново и будешь говорить «долговечного», а не «долгосвечного». (Тут черные загадочные Люсины глаза сердито сверкнули.) А сейчас займемся арифметикой. Сколько будет два и два?
— Четыре.
— А два и три?
— Пять.
— А пять и два?
— Семь!
— Молодец! Пять и три?
Люся вдруг задумалась. Потом сказала шепотом:
— Пять и три не складывается.
— Как это не складывается? Ну-ка, подумай еще.
Она подумала и, покачав бантами, повторила упрямо:
— Не складывается.
— У тебя есть кубики?
— Есть.
— Давай их сюда.
Она взяла коробку с кубиками и выложила их на стол.

— Отсчитай три кубика и отложи их в сторону.

Она отсчитала и отложила в сторону три кубика.

— Теперь отсчитай и отложи в другую сторону пять кубиков.

Она отсчитала и отложила пять кубиков.

— Теперь смешай обе кучки.

Она смешала.

— Сосчитай, сколько получится.

Она сосчитала и сказала:

— Восемь кубиков.

— Ну, сколько же будет пять и три?

Белые банты снова замотались у меня перед глазами.

— Не складывается.

— Ты же только что сложила кубики!

— Кубики складываются, а цифры не складываются!

Нарочно она, что ли? Я вынул из кармана носовой платок и вытер пот, выступивший на лбу. Люся взглянула на меня искоса и аппетитно зевнула.

— Ты устала?

Она кивнула головой.

— Тогда на сегодня хватит!

III

Так начались мои двухмесячные муки. Нет, она не была тупым, дефективным ребенком, эта капризная, своенравная девочка. Наверное, опытный, умный педагог сумел бы подобрать ключик послушания к ее вздорной натуре, но я?.. Эта маленькая садистка играла со мной, как кошка с мышонком. Сегодня прочтет «Птичку» правильно, назовет гнездо «долговечным» — я в душе торжествую победу. Но завтра гнездо снова становится «долгосвечным».

Вдруг пять и три у нее «сложились». Мы вдвоем бурно радуемся этому арифметическому чуду. Завтра пять и три снова «не складываются». С законом божьим дело тоже у нас не ладилось.

— Люся, расскажи, как бог сотворил мир?

— Плюнул, дунул, сотворил!

— Отвечай так, как написано в учебнике. Мы же читали с тобой.

Она смотрит на меня в упор, потом переводит глаза на потолок.

— Леонид Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему мухи ползают по потолку кверху лапками и не падают?

— Отвечай, что я тебя спрашиваю.

Она хлопает в ладоши и радостно визжит:

— Не знаете! Не знаете!

Как мне хотелось в такую минуту снять с себя видавший виды гимназический пояс и отодрать мою мучительницу как сидорову козу.

Говорить с Люсиными родителями о своих муках мне не хотелось. Во-первых, мне казалось, что это будет похоже на фискальство. А во-вторых, я боялся, что Люсин папа мне тогда откажет в уроке. Денег за первый месяц занятий он мне не заплатил. То их у него не было и он просил меня «немного обождать», то он никак не мог найти куда-то запропастившийся ключ от шкатулки с деньгами. Однажды, когда я попросил денег настойчиво, он, поморщившись, пошел к себе и вынес «катеньку»— николаевскую сторублевку.

— Сдачи найдется, Леня? — спросил он, улыбаясь с нескрываемым ехидством.

Сдачи! У меня и на стакан семечек не было в кармане!

— Тогда... в следующий раз! — сказал агент страхового общества «Россия» и ушел — прятать «катеньку» в свои закрома.

Я стал плохо спать, похудел еще больше. Но из самолюбия маме ни в чем не признавался и советов у нее не просил.

День экзаменов в женскую гимназию приближался с неумолимой неотвратимостью, и я понимал, что это будет день моей казни. Так и случилось: Люся провалилась по всем предметам!

С тяжелым сердцем я постучал в дверь знакомого одноэтажного домика. И на этот раз дверь открыл Люсин папа. Он окинул меня уничтожающим взглядом:

— Пройдемте в зало!

Когда мы сели, он сказал:

— Даже по закону божьему и то... фиаско! Отец протоиерей... партнер по преферансу... сказал мне: «При всем желании ничего не мог сделать для вас. Что вы

за учителя для нее нашли? Гнать надо в шею таких учителей!»

Я молчал.

— Будущей осенью открывается приготовительный класс, а сейчас... все псу под хвост, извините за грубое выражение!

Я поднялся и, заикаясь, пролепетал, что хотел бы получить свои заработанные деньги.

Он стал малиновым и тоже поднялся — грозный, пузатый, непреклонный.

— Ну, знаете ли, Леонид Сергеевич... как это у вас хватает нахальства! Допустим, я заказываю бочку бондарю для дождевой воды, а он, подлец, делает...

Я не стал слушать, что делает подлец бондарь с бочкой для дождевой воды, повернулся и ушел.

По переулку навстречу мне вприпрыжку бежала Люся. Белые банты в ее косичках плясали какой-то веселый танчик. Она пела на собственный мотив:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает...

Увидела меня и, показав мне язык, торжествующе проскандировала:

Долгосвечного гнезда!..

Больше я никогда в жизни не занимался педагогической деятельностью, но с тех пор стал глубоко уважать учительский труд, как очень тяжелый и лично для меня непосильный.

Подводная яма

I

Я окончил гимназию в 1920 году в небольшом кубанском городке, жителем которого волею обстоятельств стал в 1917-м осенью, когда фронт гражданской войны на юге России сделал невозможным наше возвращение в родной Петроград.

Я окончил семь классов, а не восемь: восьмой был — на нашу великую радость — упразднен, как только Красная Армия утвердила Советскую власть на Куба-

ни, и гимназия наша превратилась в среднюю школу второй ступени.

Отца уже не было в живых, надо было в свои неполные шестнадцать лет самому обо всем думать и самому о себе заботиться. Прежде всего — о работе.

Наш гимназист, успевший окончить все восемь классов, Анатолий Блинников, сын местного священника, отрекшегося от своего сана, умница и железный организатор, ворочал большими делами в городке, занимая какой-то важный, не помню уж какой именно, пост в исполкоме. Он устроил меня секретарем Комитета по проведению трудовой повинности — Комтруд — на паек и зарплату.

Председателем Комтруда был товарищ Калмыченко, бывший плотник, плечистый, румяный, с красивой каштановой прядью, ниспадавшей на его высокий чистый лоб. Он был малограмотным и с великим трудом накладывал свои резолюции на бумагах, которые я ему приносил утром и клал на письменный стол. Он брал в свои большие руки с темной кожей, еще не успевшей отгрубеть и побелеть, красный карандаш и укоризненно, как мне казалось, взглянув на меня добрыми крестьянскими глазами, выводил на официальном отношении:

«Секлетарю. Ответит по сучеству».

Потом легко, с кокетливой завитушкой на конечной букве «о» подписывался: «Калмыченко».

Это была самая ходовая из его резолюций.

Вслед за тем он поднимался и, прижав к лоснящемуся боку своего романовского черного полушубка брезентовый портфельчик, объявлял, что уезжает по станицам «выявлять трудовые излишки».

Он уезжал, как мне потом стало ясно, заниматься настоящей комтрудовской работой по существу, а мы с машинисткой Марией Францевной, моей наставницей по канцелярской премудрости, оставались и долго ломали головы, сочиняя ответы «по сучеству».

Мария Францевна за глаза называла Калмыченко Кудеяром. Он ей явно нравился. Ее жених, белый офицер, дроздовец, не то погиб на фронте, не то ушел в Крым, к Врангелю, и Марию Францевну не покидал страх, что ей еще за него «достанется».

Она была очень хрупкая, хорошенькая, с тонкой, как стебелек, шейкой, с черными печальными бархатными глазами. Она была похожа на сломанный цветок.

Я ее утешал и успокаивал как мог:

— Вы ведь не жена белого офицера, а всего лишь невеста, вам нечего бояться.

Мария Францевна вздыхала, с сомнением качая головой:

— Ох, Ленечка, я знаю, что говорю! У меня одна надежда, что, если Амосин ко мне привяжется, меня наш Кудеярчик не даст в обиду!

Амосина в городке знали и боялись. Это был работник местной ВЧК, недавно обосновавшейся в белом особняке — бывшая гостиница на Привокзальной улице.

В серой казачьей черкеске с малиновым бешметом, в высокой дагестанской папахе из коричневого каракуля, Амосин ходил по улицам городка тигровой походкой щеголя, оценивающе поглядывая на прохожих молодых женщин цепкими, бледно-голубыми, почти белыми глазами навыкате. У него был широкий, вдавленный нос и крупный тонкогубый рот — неприятная наружность. Говорили, что он бывший циркач, не то борец, не то партерный акробат, и что он беспощаден и жесток. Да мало ли что могут наплести обыватели провинциального городка, еще совсем недавно бывшего глубоким белым тылом, про таких людей, как Амосин. Я не верил в эти россказни.

И надо же было так случиться, что именно мне, а не Марии Францевне, пришлось вскоре познакомиться со страшным Амосиным.

Произошло это так. Утром я, как всегда, положил на стол Калмыченко бумагу из Ростова-на-Дону, из Комтруда. В бумаге нас просили принять меры к розыску какого-то злостного трудового дезертира имярек. «Есть сведения, что он скрывается в районе действия вашего Комитета».

Калмыченко прочитал бумагу и наложил свою резолюцию:

«Секлетарю. Ответит по сучеству».

Я не выдержал и спросил:

— Товарищ Калмыченко, а что именно ответить и кому?

Он улыбнулся и подмигнул мне:

— Пишите в Чекушку, пущай она его словит! А когда словит — пишите в Ростов.

Он поднялся, взял свой портфельчик.

— Все у вас?

— Все!

— Тогда... счастливо оставаться до четверга.

Калмыченко уехал. Я подсел к Марии Францевне и продиктовал ей отношение: «Предлагается вам принять самые срочные меры к розыску трудового дезертира имярек...»

Бумагу я подписал сам, единолично:

«Секретарь Комтруда...»

Наша курьерша Антиповна, резкая старуха, отнесла письмо в белый особняк на Привокзальной. Это было в понедельник. А в среду утром у нас в Комтруде зазвонил телефон. Мария Францевна взяла трубку, сказала своим прелестным, мелодичным голоском: «Алло, Комтруд слушает!» И вдруг обморочно побелела:

— Сейчас попрошу!..

Держа трубку в руке, глядя на меня округлившимися, неподвижными глазами, она прошелестела:

— Ленечка... Вас просит... Амосин!

Я взял трубку и услышал тонкий, какой-то даже скопческий, фальцетного тона тенорок:

— Вы секретарь Комтруда?

— Я!

— Немедленно явитесь ко мне. Пропуск вам заказан.

II

...Недлинный, пустой, тихий коридор. По обеим сторонам комнаты с пришпиленными к дверям картонками — номерами. С пропуском в руке я шел по этому коридору, разыскивая комнату № 8. Надо признаться, что сердце у меня билось неровно и часто. Отвратительное ощущение безотчетного страха, овладевшее мной, как только я оказался в этом пустом коридоре, не оставляло меня. Что от меня нужно этому Амосину? Никакой вины перед новой властью я за собой не знал и не чувствовал. Вот разве что мое происхождение... Но в конце концов мой папа не какой-нибудь буржуй, а

врач. Правда, военный. И притом в генеральских чинах. Но ведь мы с братом Димой в анкетах не писали про генеральский чин покойного отца. Кто про это знает! Но, может быть, Амосин как раз-то и знает!

Вот комната № 8. Я постучал в дверь. Фальцетный голос отозвался:

— Войдите!

Амосин грузно сидел за дамским письменным столиком. Он был не в черкеске, а в обычной солдатской гимнастерке с расстегнутым воротом. Бросалась в глаза его красивая могучая белая шея атлета.

Кроме дамского столика и стула, стоявшего подле него, другой мебели в комнате не было.

— Я секретарь Комтруда! — сказал я довольно бойко.— Вы меня вызывали к себе.

Жуткие, белые, навыкате глаза Амосина долго обшаривали меня с головы до ног и обратно — с ног до головы.

Я почувствовал, что краснею.

— Что вы тут понаписали?! — прервал наконец тягостное молчание Амосин, сделав ударение на третьем слоге в глаголе «понаписали».

Он потряс моим злосчастным отношением и, бросив бумагу на стол, грубо и грязно выругался.

Я обомлел. Этого я никак не ожидал! Я стоял перед Амосиным и молчал, совершенно растерянный.

— «Предлагается вам...» — издевательски процитировал мою бумагу Амосин на самом высоком регистре своего пронзительного фальцета.— Ишь ты! Да ты понимаешь, к кому ты обращаешься?! Кто тебе, сопляку, право дал предлагать органам?!

— А кто дал вам право меня оскорблять?! — сказал я, изо всех сил стараясь унять постыдную дрожь в своем голосе и в своих коленях.

— Вот я тебя спрячу на месяц в подвал, тогда узнаешь, кто мне это право дал!

И тут, на мое счастье, дверь отворилась, и в комнату вошел бледный, узколицый, болезненного, сумрачного вида брюнет в потертой кожаной куртке, накинутой поверх матросской тельняшки.

— Что за шум, а драки нет?! — невесело пошутил брюнет в кожаной куртке.— В чем дело, Амосин?

— Да вот пишут тут! — сказал Амосин, полоснув

меня по лицу своим белесым взглядом.— Полюбуйся: «Предлагается вам...»

Брюнет взял бумагу, прочитал. Повернулся ко мне, сказал вежливо и тихо:

— Обождите меня в коридоре, пожалуйста!

Я вышел, плотно прикрыв за собой дверь.

Я стоял в коридоре, по-прежнему пустом и тихом, и ждал, чем все это кончится. За дверью были слышны голоса, но слов я разобрать не мог. По-шмелиному гудел недовольный сердитый баритон пришельца. В ответ — жалобно, по-собачьи повизгивал, оправдываясь,— фальцет Амосина.

Единственное, что я разобрал ясно, был сочный, свирепый, в десять этажей виртуозно закрученный матросский мат, увенчавший «полет шмеля» за дверью. Вслед за тем в коридор вышли брюнет в кожаной куртке и Амосин — лицо в красных пятнах, глаза уже совсем как бельма.

Брюнет отдал мне подписанный, пришлепнутый печатью пропуск, сказал:

— Можете идти. Меры примем!

Амосин выдвинулся из-за его спины и добавил с подхалимской улыбочкой:

— Только бумажечки в следующий раз поаккуратней сочиняйте!

Брюнет молча взглянул на него, и Амосин, мгновенно согнав с лица нехорошую свою улыбочку, повернулся и скрылся за дверью.

Шаркнув ногой, я зачем-то сунул брюнету руку, которую он небрежно пожал, и пошел по коридору к выходу, незаметно для самого себя ускоряя шаг.

III

Теперь можно перейти к главному — к истории гибели Севы Норцева, тоже нашего гимназиста.

Сева был старше меня на два года, он учился в одном классе с моим братом Димой.

Амосин имеет прямое отношение к этой драматической истории.

У меня сохранилась фотография, где мы, дружившие между собой гимназисты, сняты в привокзальном садике уличным фотографом. Смешно и грустно рассматри-

вать сейчас свое изображение. Неужели этот юнец, почти подросток, худой, длинноногий, чуть горбящийся — дурная привычка! — в гимназической фуражке без герба на давно не стриженной вихрастой голове, в белой короткой рубашке, опоясанной форменным ремнем с медной бляхой,— неужели это я?!

Сева Норцев стоит в нашей группе, построенной по ранжиру, вторым. Он тоже худ, но строен, как молодой тополек. У него удлиненное, красивое лицо интеллигента. Нежный рот, смелые, умные глаза. Его отец, инженер, был директором сахарного завода, расположенного поблизости от городка — один перегон по железной дороге.

Мы с Димой часто бывали на заводе у Севы, отправляясь туда по субботам и возвращаясь в воскресенье вечером. Обычно мы уезжали из города товарным поездом,— если он не останавливался на Севиной станции, приходилось спрыгивать с вагонной площадки на ходу. Это придавало путешествию особую прелесть. А иногда мы шли пешком по благоуханной степи; дойдя до станции, сворачивали направо на широкий, крепко выбитый большак. По нему нужно было пройти до завода еще километра полтора-два, миновав монастырскую церковь, заброшенное кладбище и белые мазанки, в которых жили какие-то совершенно одичавшие от революционных бурь монахи, заросшие дремучими бородами до глаз.

Севина семья состояла из отца, озабоченного заводскими делами, близорукого, в сильных очках, с чеховской бородкой, матери — бледной дамы с милым добрым лицом, изнуренной тяжкими женскими болезнями, и двух сестер — Гали и Ниночки.

Старшая, Галя, уже окончившая женскую гимназию, мечтала стать курсисткой-бестужевкой, но пока из-за болезни матери вела весь дом. Она сама про себя говорила, что постепенно превращается в Соню из «Дяди Вани».

— Но я-то еще увижу свое «небо в алмазах»! — любила шутя повторять Галя.

В этой шутке была горечь.

Младшая, Ниночка, очень серьезная девочка, училась в четвертом классе гимназии, в жидких ее косичках еще трепыхались белые бантики, а на ее кровати в

комнате, в которой она спала вместе с Галей, днем на подушке покоилась кукла Акулина — рослая девица с отбитым носом и белой косой из пакли. Расстаться с Акулиной у Ниночки не хватало сил, хотя она очень стеснялась своей привязанности.

Ко мне Ниночка относилась с доверием и симпатией, наверное потому, что я был самым младшим в нашей компании, и, демонстрируя спящую на подушке Акулину, говорила:

— Понимаете, Леня, мне подарили ее очень давно на день рождения. Нельзя же просто так взять и выбросить подружку детства на помойку, правда?

Она говорила и так просительно смотрела на меня своими строгими, темно-синими, с черными стрельчатыми ресницами, мудро-наивными глазками, что я соглашался. Да, конечно, нельзя выбрасывать подружку детства на помойку.

Сева безжалостно хохотал.

— Нинка, ты лучше постриги Акулину в монахини, нареки ее матерью Феодорой и сдай в монастырь, то есть в чулан. И волки будут сыты, и овцы целы. Неси ножницы, я тебе помогу!..

Сева был убежденный большевик, марксист, хорошо знакомый с марксистской литературой, непереводившейся в их доме: Норцев-старший в студенческие годы был связан с социал-демократическими кружками. Здесь, в доме Норцевых, я впервые от Севы услышал о Ленине то, что я, воспитанный совсем в другом духе, никогда раньше не знал и не слыхал.

Дима часто спорил с Севой,— по своей натуре он вообще был спорщиком и полемистом. Он «вырабатывал» тогда свое мировоззрение, в то время увлекался Шопенгауэром и в спорах защищал знамя идеализма.

Они с Севой на далеких наших прогулках по степи кричали друг на друга до хрипоты, не скупясь на самые крайние выражения.

— От тебя несет поповщиной, как из выгребной ямы!

— А ты залез всеми четырьмя в материалистическое корыто и ищешь небо на его дне!

Я не любил, когда при мне ссорились и спорили, тем более о вещах, в которых я мало что смыслил, и радовался, когда Галя Норцева, которой тоже не по душе

были эти мальчишеские петушиные бои, говорила, хмуря тонкие золотистые брови:

— Севка, Дима, мальчики, перестаньте, надоело. Леня, почитайте лучше стихи!

И споры кончались любимым всеми нами Блоком:

— «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аи...»

Закатное степное небо иногда бывало действительно золотым, бездонно-нежным, а иногда, предвещая ветры и непогоду, багрово-алым, тревожным, как то время, в которое мы тогда жили.

IV

Двадцатый год принес семье Норцевых большие беды. Умерла от рака Севина мать, отец после ее смерти от горя впал в депрессию, проникся мистицизмом, стал бывать в монастырской церкви, ходил на душеспасительные беседы к отцу Иерониму — гугнявому старцу-монаху девяноста лет от роду.

Сева по окончании гимназии был призван в деникинскую армию и направлен в юнкерское училище на ускоренный выпуск.

Но с Деникиным уже было кончено. Под ударами конницы Буденного его растрепанные, еще недавно стойкие и грозные полки поспешно отходили на Новороссийск, чтобы морем пробраться в Крым, к Врангелю.

Юнкеров училища, в котором учился Сева Норцев, бросили в арьергардный бой — задержать красную кавалерию, дать возможность главным силам белой армии оторваться от наседающих буденновцев с их страшными, неотвратимыми клинками.

В этом кровопролитном коротком бою юнкер Всеволод Норцев и еще один наш гимназист, Максим Коисуг, сын иногороднего батрака, золотой медалист, с оружием в руках перешли на сторону красных.

Мы встретились с Севой уже летом 1921 года. К тому времени он стал секретарем одного из комсомольских райкомов в областном городе. Максим работал там же, в райкоме. Они жили вместе в одной комнате. Я же совершенно неожиданно для себя был избран на областном съезде профсоюза советских работников в члены его правления и тоже уехал из нашего городка. Меня

назначили заведующим отделом охраны труда. В основном мои обязанности заключались в том, что я распределял среди отощавших совработников пайки усиленного питания. Я делал примерно то, что некогда делал Иисус Христос, накормивший пятью хлебами и двумя рыбинами «множество людей», но с меньшим, чем он, успехом.

V

Я не помню, на какой улице жили Сева и Максим, помню только, что она пролегала недалеко от Кубани.

После работы я приходил к ним, в их пустую комнату, в которой, кроме двух железных кроватей, кухонного стола, застланного газетами, и двух табуреток, ничего больше не стояло, и мы спускались вниз, к Кубани,— купаться. Многоводная и раздольная Кубань, как ее называли казаки в замечательной своей песне, звучащей, как гимн,— река коварная и с норовом. У нее лошадиной силищи течение, вода — желтая, недобрая, с белыми пенными бурунами и зловещими воронками. Только опытный и сильный пловец способен переплыть Кубань в местах ее широкого разлива.

Мы с Максимом, купаясь, плескались у берега, а Сева заплывал далеко. Он был хорошим пловцом и поставил себе целью — переплыть Кубань и, отдохнув на том берегу, вплавь вернуться назад.

Когда он после очередного тренировочного заплыва, по-мальчишески худой, но со стройными, мускулистыми юношескими ногами, со впалым животом и атлетически развернутыми плечами, выходил из воды и бросался на песок, мы с Максимом поглядывали на него с уважением.

Максим — тощий, с красным, коротким, вечно лупящимся носиком, с красными больными веками — говорил ворчливо:

— Не понимаю, зачем тебе нужно переплывать Кубань? Мы с Ленькой и так видим, что ты порядочный пловец.

— Я не люблю просто плавать,— отвечал ему Сева.— Должна быть какая-то спортивная цель. У меня цель — переплыть Кубань. И я это сделаю, не сегодня, так завтра!

Сидевший на берегу поодаль от нас старик в сивой щетине на подбородке и щеках, босой, в рваных рыбацких портках сказал:

— Переплыть ее можно, только надо смотреть, куда плывешь. Где бурун — туда не плыви, обходи, там под водой яма донная,— затянет в воронку — и поминай как звали! А еще говорят, в этих ямах сомы-людоеды в засаде сидят. На пуд рыбина, а то и больше. Человек плывет, а он его за ногу — цап! — и потащил на дно!

— Вам, дедушка, не приходилось таких сомов-людоедов ловить? — спросил Сева с легкой усмешкой.

— Не приходилось, врать не стану! — серьезно сказал рыбак.— А люди ловили. Говорят, распороли такого пудовика, а у него в брюхе... очки. Одна дужка поломатая, ниточкой перевязана!

Мы с Максимом засмеялись. Старик неодобрительно поглядел на нас и поднялся.

— А переплыть ее, стерву, вполне возможно. Только осторожно! — сказал он на прощание и пошел вдоль кубанского берега, колыхая свисающую, залатанную мотню своих штанов.

VI

Когда дня через три-четыре я снова пришел к своим друзьям, я сразу почувствовал, что случилось большое несчастье.

Сева сидел за столом на табурете, неподвижный, отрешенный, с лихорадочно блестевшими, воспаленными глазами. Белокурые волосы спутаны.

Максим лежал на кровати.

Я дурашливо, весело выкрикнул с порога:

— Здорово, молодцы!

Мне не ответили.

— Что случилось, ребята?!

Сева так же отрешено взглянул на меня и тихо сказал:

— Я получил письмо из дома, от Галки. Отца расстреляли!

Я без сил опустился на свободную табуретку.

— Боже мой, за что, Сева?!

— Какая-то темная, гнусная история. Галя пишет, что будто у призаводских монахов — помнишь их? —

нашли винтовки и патроны и будто бы отец был участником их антисоветского заговора. Я не знаю, что там делали монахи, но отец — заговорщик... Какая ерунда! Дело отца вел некий Амосин.

— Я его знаю! — воскликнул я и стал рассказывать историю моего знакомства с Амосиным, но Сева меня прервал:

— Судя по Галиному письму, твой Амосин — опасный авантюрист и большой подлец. Галя пишет, что он открыто, нагло носит сейчас папин плащ,— отец привез его еще до войны из Вены... Послезавтра я еду домой. Я должен как-то устроить сестер и кое-что узнать на месте. Я добьюсь пересмотра папиного дела — это мой долг. Я уже был где нужно, и мне обещали все материалы дела затребовать сюда, в область.

— Смотри, Севка,— сказал Максим, спустив ноги с кровати на пол,— будь с этим Амосиным поосторожней. Он наверняка будет играть на том, что ты — бывший юнкер.

— А разве я это где-нибудь и когда-нибудь скрывал?! Я ничего и никого не боюсь! — сказал Сева горячо и гордо.

Он встал, прошелся по комнате. Заговорил спокойней, с вдумчивыми интонациями умелого пропагандиста, ведущего беседу со слушателями на трудную, болезненную тему.

— Вы, ребята, должны понять, что революция перебудоражила всю нашу жизнь — до самого дна. На поверхность всплыла всякая дрянь и нечисть. Грязные людишки пристраиваются к нашему делу, у них свои грязные цели и интересы. Они прилипают к днищу революционного корабля, как ракушки, мешают ему свободно плыть. Видимо, Амосин одна из таких ракушек, но разве можно бояться ракушки?!

Остановился посреди комнаты и вдруг совсем другим тоном сказал устало:

— Тем не менее от этого мне не легче. Отца-то нет!..

VII

На следующий день — уже темнело — я пошел попрощаться с Севой перед его отъездом. Пришел и застал дома одного Максима. Он сидел на своей кровати и

смотрел в одну точку на полу в углу комнаты. Там стояли башмаки, грязные, с потрескавшейся, кое-где побелевшей кожей, но еще прочные, на пудовой подошве,— надежное изделие интендантства британской королевской армии. Такими башмаками оно снабжало армию генерала Деникина.

— Где Сева? — спросил я, предчувствуя недоброе.

— Севы нет! — ответил Максим с сумасшедшим спокойствием, не отрывая глаз от башмаков.

— Что значит нет! Где он?!

— Севка утонул! — сказал Максим и визгливо, с какими-то собачьими всхлипами зарыдал.—Я говорил ему: не плыви! А он поплыл. И еще сказал: «Именно сегодня ее переплыву!..» Он уже был почти у того берега... И вдруг взмахнул рукой... он попал в воронку, его засосало!

— Максим! — сказал я, ужасаясь тому, что говорю.— А ты не думаешь, что он... сам...

— Не смей так о нем думать! — дико заорал Максим. Он вцепился в мое горло своими цепкими худыми пальцами, стал трясти. Близко от себя я увидел его безумные глаза с коралловыми веками. У него началась истерика. Да я и сам был близок к ней. Кое-как я привел Максима в себя и ушел домой, совершенно разбитый и нравственно и физически.

VIII

Остается только рассказать финальную часть этой грустной истории.

Галя и Ниночка Норцевы уехали к родственникам на Север.

Амосин из городка исчез.

Были слухи, что после расследования дела монахов областными органами он был не то арестован, не то изгнан со службы, не то куда-то сбежал.

Но слухи есть слухи. Поди проверь!

Начался нэп. Однажды пришел ко мне мой друг, репортер газеты «Красное знамя» Акоп, знаменитый футболист, и сказал, что в городе открылось частное заведение, где продают — подумать только! — мороженое!.. Пломбир!.. И настоящий довоенный лимонад в пузатых бутылочках с пробкой в железной сеточке! Се-

годня же вечером мы должны, как пышно выразился Акоп, «посетить» это заведение. Тем более что он собирается об этом открытии дать тридцать, не меньше, строк в «Красное знамя» и что название для заметки он уже придумал: «Сладкая жизнь».

Учитывая, что дело происходило за три с лишним десятка лет до появления прекрасного фильма Феллини, надо отдать должное моему другу Акопу — название он придумал отличное.

Заведение помещалось на улице, ведущей к реке, в палисаднике, освещенном цветными электрическими лампочками, подвешенными к ветвям раскидистых, приземистых, будто осевших на задние ноги яблоневых и грушевых деревьев.

В глубине палисадника стоял выбеленный известкой одноэтажный кирпичный, тоже приземистый, дом с окнами, прикрытыми снаружи ставнями на железных засовах. Типичный зажиточный мещански-уютный особнячок.

Столики, расставленные в палисаднике, были застланы белыми скатертями и украшены вазами с букетами разноцветных астр. Только два из них были заняты. О заведении в городе еще не знали...

Мы с Акопом сели за столик под старой грушей с синим лампионом на ней.

Появилась страшенной толщины женщина в кокетливом кружевном белом фартучке. На голове ее в черных с проседью волосах белой бабочкой-капустницей сидела наколка, как у дореволюционной горничной из хорошего дома. У нее было грубое, чувственное лицо мелодраматической злодейки, с правильными, даже красивыми чертами. В ушах — бриллиантовые сережки.

Она подошла к нашему столику:

— Чем вас угостить, молодые люди?

— Пломбиром!— сказал Акоп, заранее облизываясь.

— И конечно, лимонадом!— добавил я.

Толстуха мило улыбнулась.

— Будет вам и белка, будет и свисток!..

Она уплыла в дом, покачивая своими чудовищными бедрами, и вдруг из дома в палисадник вышел... Амосин! Да, это был он! В щегольской, кремового цвета рубахе навыпуск, с пояском, в легких серых брючках, в желтых сандалиях. Он прошелся по палисаднику, по-

хозяйски оглядывая его убранство. Вывинтил из патрона перегоревший лампион, сунул его в карман брюк. Он мало изменился, вот разве что только ходил он теперь не щегольски размашисто, как тигр, а мягко и осторожно, как выпущенный на прогулку по нужде домашний кот.

Амосин бросил на нас безучастный взгляд и, видимо, не узнал меня.

Он явно кого-то ждал — сел за свободный столик поближе к входной калитке, достал из серебряного портсигара папиросу, закурил.

— Что с тобой?— спросил Акоп, заметив мое волнение.

— Потом расскажу. Приглядись к этому типу.

Толстуха принесла отличный пломбир и ледяную бутылку лимонада — именно пузатенькую и именно с пробкой в сетке. Она вылетела из горлышка с дразнящим воображение хлопком, и над бутылочкой возник симпатичный душистый дымок.

Мы ели пломбир, пили лимонад и наблюдали за Амосиным.

Вот он увидел кого-то и поспешно поднялся из-за столика. И тут я едва удержался от возгласа удивления: в палисадник вошел тот худой, узколицый, сумрачный брюнет, который два года назад не позволил Амосину «спрятать» меня в «подвал». Он был в приличном темно-синем коверкотовом костюме, в белой сорочке с галстуком.

По тому, как встретились Амосин и сумрачный брюнет, можно было понять, что Амосин пригласил старого товарища, с которым давно не виделся, в свое заведение. «Наверное, захотел похвастаться, как он живет и благоденствует»,— подумал я, наблюдая, как суетится и обхаживает своего гостя Амосин. Я улавливал его отдельные слова и понял, что они уже виделись накоротке днем, а вечер решили провести вместе, посидеть, вспомнить минувшие дни и битвы.

Амосин сам принес и поставил на столик к брюнету две вазочки с пломбиром и две бутылки лимонаду.

Они стали говорить вполголоса, слов я разобрать уже не мог. Опять по-шмелиному гудел сердитый баритон пришельца, и снова в приглушенном фальцете Амосина вспыхивали жалобные взвизги.

Сумрачный брюнет вдруг отодвинул вазочку с недоеденным пломбиром, резко поднялся, полез в карман брюк и достал бумажник.

— Не обижай, Вася!— громко сказал Амосин, но брюнет, отстранив его руку, вынул из бумажника кредитку и бросил ее на стол. Потом он взял вазочку со стола и выплеснул остатки пломбира прямо в красную, жирную, жалкую харю Амосина.

— Это тебе вместо чаевых!— сказал сумрачный брюнет и вышел из палисадника.

Вытирая лицо носовым платком, Амосин бросился в дом, отдуваясь и фыркая, совсем как кот, которого ошпарили горячими помоями.

Вышла расстроенная толстуха в наколке. Мы расплатились с ней и тоже ушли.

По дороге домой я рассказал Акопу все, что знал про Амосина.

Заметки «Сладкая жизнь» в газете «Красное знамя» не появилось.

Вова приспособился

В двадцатых годах я жил в Краснодаре на Кубани, был непростительно молод, но, несмотря на это, занимал ответственный профсоюзный пост. Впрочем, занимаемая должность не мешала мне в рабочее время сочинять лирические стихи. Я был отчаянно влюблен в одну прелестную краснодарку — блондинку с фиалковыми глазами, и это обстоятельство повышало мою лирическую активность и снижало служебную.

Блондинка с фиалковыми глазами увлекалась драматическим искусством. Она и меня вовлекла в любительский кружок.

Под Новый, 1922 год кружок решил поставить комическую пьеску Е. Мировича «Вова приспособился». Вова — это юный светский шалопай, его призвали в армию, он стал вольноопределяющимся, попал в казарму и пытается приспособиться к солдатскому быту,— вот и

все несложное содержание этой талантливо написанной вещицы. В свое время эта пьеска обошла сцены всех театров эстрады и миниатюр Российской империи.

Начало спектакля и концерта было назначено на девять с половиной часов вечера.

В спектакле я должен был играть роль Вовы. Я заранее оделся для сцены. На мне была суконная гимнастерка защитного цвета, стянутая офицерским поясом, бриджи, сшитые из старой маминой юбки цвета сан-жан, и высокие сапоги со шпорами. Пояс и сапоги со шпорами были добротные, настоящие, они достались мне от покойного отца, военного врача. Погон вольноопределяющегося — солдатских, с цветным жгутом по краям — мне не достали, нашли юнкерские — шикарные, золотые, с красным просветом. Их я и прикрепил на плечи. Прикрыв все это великолепие обычной для того времени солдатской шинелью кавалерийского образца, длиннополой, с разрезом сзади, и надев на голову студенческую фуражку с голубым околышем, я вышел из дома.

Не успел я пройти и квартала, как меня остановил военный патруль.

— Ваши документы!

Забыв про свои юнкерские погоны, я расстегнул шинель, чтобы достать из нагрудного кармана гимнастерки служебное удостоверение.

Один из патрульных — бородач в окопной папахе с красной звездочкой,— ахнул.

— Смотри! Он, гад,— в погонах!

Я стал объяснять патрулю, что спешу в клуб на спектакль, но меня не слушали.

— Давай веди его в Чеку, Федотов! — приказал начальник патруля бородачу в папахе.— Там разберутся, какой тут у него спектакль!

Время было неспокойное. Всего лишь два года тому назад казачий генерал Улагай вел на Краснодар белых десантников. В горных лесных чащобах еще бродили остатки бело-зеленых банд.

Бородач доставил меня в Чека и сдал дежурному, а тот привел в комнату, в которой, кроме стола и двух стульев, ничего и никого не было, и велел ждать.

На душе у меня скребли большие когтистые кошки.

Вошел уполномоченный. Весь в черной коже: кожа-

ная куртка, кожаные штаны, кожаная фуражка, кожаные сапоги. Лицо бледное, якобински-решительное, с алыми воспаленными краями век. Кошки вонзили когти в мою душу поглубже.

— Снимите шинель!

Я снял.

— Что это значит? — он показал на мои юнкерские погоны.

Я сказал, что это значит.

— Дайте ваши документы!

Я отдал ему свои документы.

— Обождите!

Он ушел. Я стал ждать. А что еще я мог делать? Когда до начала спектакля оставалось десять минут, уполномоченный Чека снова вошел в комнату.

— Значит, Вову играете?

— Вову,— сказал я обреченно.

И вдруг на его решительном якобинском лице заиграла легкая улыбка, и он очень приятно и верно пропел:

Вова приспособится везде,
И не унывает он нигде!

Глядя на меня, на мои вытаращенные и, видимо, очень глупые в ту минуту глаза, уполномоченный Чека прибавил:

— Сам когда-то эту роль играл, когда был актером,— смешная ролька. И куплеты хорошие!

Посмотрел на часы.

— Вы опаздываете на спектакль! А на спектакли нельзя опаздывать. Верхом ездить умеете?

Я пробормотал, что умею.

— Я вам дам своего коня и провожатого. В самом худшем случае вы опоздаете в ваш клуб на восемь минут, это не так уж страшно. Идемте!..

Чекистский конь — здоровенный вороной мерин — оказался на редкость противным животным. В отличие от своего хозяина, он отнесся ко мне крайне подозрительно и даже с явной «классовой неприязнью»: как только я взял уздечку и вдел ногу в стремя, он по-лебединому изогнул шею и попытался меня укусить. А скорее всего, он почувствовал во мне неумелого всадника. Тем не менее мне удалось все же на него взобраться, и мы поскакали. Тут, однако, мерин начал

спотыкаться на передние ноги — я был убежден, что он делает это нарочно. Когда он споткнулся первый раз — я съехал ему на шею, но кое-как удержался за гриву. Тогда мерин споткнулся уже порезче, да так, что я вылетел из седла и, совершив сложный пируэт через его голову, приземлился на мостовой. Я не очень сильно расшибся, но мои роскошные бриджи цвета сан-жан лопнули в самом неподходящем месте. Я снова взобрался на чекистского коня, и мы поскакали дальше. Мерин не пытался больше избавиться от меня. По-видимому, он оценил мое упорство и... махнул на меня ногой.

Спектакль начался с опозданием на двадцать минут: десять было потрачено на починку моих штанов.

Прошел спектакль отлично.

Искусство и жизнь

I

Я служил тогда агентом для поручений в Центросоюзе, но по причине моей крайней молодости и полной — до святости! — неосведомленности в коммерческих делах никаких серьезных поручений мне не давали. Я был чем-то вроде курьера. И это меня, студента первого курса Политехнического института, угнетало и мучило. Но уже был нэп со всеми его соблазнами, с новой твердой валютой — с червонцем. Аскетизм и всеобщая уравниловка военного коммунизма быстро забывались. Лишившись отца, когда мне было 14 лет, я очень рано стал жить своим трудом. Надо было крепко держаться за место, чтобы не угодить на биржу труда — в безработные.

В Центросоюз я попал по знакомству. Меня устроил туда один мой приятель, наш студент, племянник Полины Семеновны — супруги заведующего центросоюзовским отделением в нашем городе.

Утром прекрасного летнего дня я пришел на работу с небольшим опозданием. Мое непосредственное начальство, секретарь отделения Малевич, сухарь и

службист, уже сидел за своим бюро и просматривал газеты.

— Здравствуйте, Павел Сигизмундович!

Малевич оторвался от газеты, взглянул на свои ручные часы и молча кивнул мне сивой головой. Старика бесили мои опоздания, но он знал, что мне покровительствует «сама», и поэтому сдерживал порывы своего раздражения.

Я сел за свой стол — маленький, шаткий, скорее кухонный, чем письменный,— и стал для виду рыться в его единственном жалком ящике.

— Леонид Сергеевич, покорнейшая просьба к вам,— сказал Малевич,— надо сходить в Госбанк и передать в кредитный отдел срочную бумагу.

— Прямо сейчас идти?

— Прямо сейчас! Возьмите бумагу, она уже подписана и зарегистрирована мною в исходящем журнале.

Я поднялся и подошел к его бюро. Малевич подал мне бумагу и, глядя прямо в мои глаза, сказал то, что я как раз и боялся услышать:

— Не забудьте взять с собой разноску!

Разнося центросоюзовские послания по городским учреждениям, я старался не брать разносную книгу. Морально было куда легче прийти в учреждение и небрежно бросить девице, принимающей почту:

— Тут мы у вас мешки просим. Для муки. Потрудитесь поскорее передать это куда следует.

Такая же, как голос, небрежная улыбка, кивок головой и — поскорее за порог.

Оно конечно, любой труд не унижает человека, но этому человеку было тогда восемнадцать лет, и он был поэтом, премированным, черт возьми, на городском конкурсе, непременным участником студенческих литературных вечеров. И вдруг вместо томика собственных стихов у него в руках разносная книга, обшитая для прочности грязной парусиной!

Я быстро и без особых огорчений справился со своим нехитрым поручением в Госбанке и пошел по главной улице города к себе назад, в Центросоюз, зажав под мышкой проклятую разноску, обернутую в газетную бумагу — для маскировки.

Я дошел до недавно открывшейся кондитерской, где можно было выпить за столиком настоящего кофе со

слоеными пирожками и пирожными, и остановился, разглядывая соблазнительную витрину. Меня окликнули. Я обернулся и увидел своих друзей: Акопа М., репортера городской газеты, знаменитого вратаря знаменитой местной футбольной команды «Унион», и Лешу Г., студента нашего института, тоже писавшего стихи и выступавшего вместе со мной на студенческих вечерах.

На шее у Акопа висела связка бубликов на мочальной веревочке. Это означало, что он вышел на охоту за материалом для газеты, не успев позавтракать. Чтобы не терять времени, Акоп постепенно, на ходу, уничтожал свое ожерелье бублик за бубликом, приглушая мешавшее его репортерской охоте чувство голода.

— Откуда, умная, бредешь ты, голова? — сказал Акоп и, разломив нашейный бублик, протянул мне половину кольца. Бублик был еще теплый и очень вкусный.

— Из Госбанка.

— Что ты там делал?

— Выполнял ответственное поручение!

— Какое?

— Такое... насчет кредитов,— сказал я, чувствуя, что краснею.

Акоп скосил свой умный, быстрый армянский глаз на мою разноску, завернутую в газету, и усмехнулся:

— Ну и как? Открыл тебе кредит Госбанк?

— Открыл... то есть откроет. Не мне, конечно, а Центросоюзу.

— В таком случае ты, как полномочный представитель Центросоюза, обязан открыть кредит мне и Лешке. Идем в кондитерскую пить кофе за твой счет!

Я достал кошелек и подсчитал свою наличность — выяснилось, что на кофе с пирожными на троих у меня денег не хватит. Леша Г. добавил свои, и все равно получилось, что наши финансовые возможности позволяют нам взять лишь три стакана кофе и два пирожных, на третье нужно было уже просить кредит в Госбанке.

— А мне не нужны ваши нэпманские пирожные! — сказал Акоп.— У меня есть мои пролетарские бублики! Выпью с вами кофе и побегу дальше.

Он беспечно встряхнул свое поджаристое ожерелье. Леша Г. залился смехом. Когда он так смеялся, казалось, даже ежик светлых волос на его голове и тот тря-

сется каждой своей волосинкой от Лешиного фырканья, фуканья и стонов. Он был смешлив и сентиментален, наш милый Леша Г., сын крупного инженера, профессора, автора капитального учебника по мостостроению, обрусевшего петербургского немца, оказавшегося с семьей после революции на юге и теперь собиравшегося вернуться в свой родной Петербург — Петроград, ставший Ленинградом.

Продолжая фыркать и стонать, Леша наконец выдавил из себя:

— Тебя не пустят в кондитерскую со своими бубликами. Дадут по шее и выгонят!

— Прессу не выгоняют!—гордо сказал Акоп.—Пресса сама дает по шее и выгоняет. Пошли!

Мы вошли в кондитерскую. Она божественно благоухала ванилью и сдобным тестом. Два из трех столиков были заняты. Акоп уселся за свободный, в углу, развернул газету, сделал вид, что погружен в чтение.

Мы с Лешей стали обозревать стойку с пирожными. Особенно хороши были ореховые, со сливочным кремом, пузатенькие, как бочоночки,— хозяин кондитерской нахально назвал их «сенаторскими».

Дверь с улицы открылась, и в сладкое заведение вошел новый посетитель — плотный, средних лет, в новенькой защитной гимнастерке и таких же галифе, в высоких, жарко начищенных сапогах. На голове — соломенная летняя фуражка с большим козырьком. Я знал этого человека. Это был Борис Львович Ш., арендатор двух мельниц, ловкий делец, он был связан с Центросоюзом по хлебным делам и бывал в «салоне» Полины Семеновны. Про Бориса Львовича нам было известно еще и то, что он из Одессы, служил во время гражданской войны в интендантстве Первой Конной армии, а потом ушел в отставку и кинулся в дебри нэпа в погоне за большими деньгами, в чем и преуспел!

— Какая замечательная встреча! — сказал Борис Львович, широко улыбаясь нам золотозубым, твердо очерченным ртом.— Что вы здесь делаете, мальчики? — Он спохватился.— Впрочем, глупый вопрос! Зачем люди приходят в кондитерскую? Чтобы скушать пирожочек и выпить кофеечку. Вы заняли столик?

Я показал ему на столик в углу, за которым сидел Акоп с ожерельем из бубликов на шее.

— Товарищ пресса тоже здесь? Это очень приятно! — Он помахал Акопу рукой.— Идите садитесь, я сделаю заказик и подсяду, с вашего разрешения, к вам.

Мы пили горячий кофе, пожирали пирожные — Борис Львович принес и сам поставил на стол вазу с «сенаторскими»: бери сколько хочешь! — и говорил о жизни.

— Мы с вами, мальчики, живем в замечательное время,— разглагольствовал Борис Львович,— которое можно назвать так: «Не зевай!» Что я хочу этим сказать? Я хочу этим сказать одно: не зевайте и вы!.. Вот вы, товарищ пресса,— обратился он к Акопу,— я вижу, что вы человек энергичный, с огоньком. Почему бы вам не заняться настоящим делом, а не бегать по городу с этим, извините меня, полусобачьим украшением на шее!

Леша залился смехом, затрясся и застонал. Акоп нахмурил густые брови.

— Что вы считаете настоящим делом?

— Почему бы вам не попробовать издавать свою газетку? Могут разрешить! Частную инициативу поощряют в любой сферочке. Только не надо касаться политики. И без политики есть о чем писать! Общество сейчас не интересуется политикой, дайте ему интересный факт с пикантной подливкой, и оно вам скажет спасибо!

Я взглянул на Акопа и увидел, что глаза моего друга зажглись и мгновенно потухли. И снова зажглись трепетным, но хищным огоньком. Борис Львович послал свою стрелу точно в цель. Акоп, этот газетчик по крови, не мысливший себя без газеты и вне газеты, с недавних пор стал носиться с идеей издания еженедельника. Название у него уже было придумано — «Искусство и жизнь».

— В городе у нас есть два театра — драматический и опереточный,— так рассуждал Акоп, доказывая мне и Леше необходимость создания такого еженедельника.— Да плюс консерватория, картинная галерея, приезжие гастролеры. Ваш союз молодых поэтов что-то там пописывает. Городское искусство обеспечит еженедельник материалом с избытком. Наше «Красное знамя» мало пишет по вопросам искусства, мы ей не будем мешать... Ребята, ей-богу, можно сделать замечательную газету.

— Газета — это очень выгодное дело! — продолжал размышлять вслух Борис Львович.— У нас в Одессе до революции жил некто Финкель, он торговал селедками, вообще рыбой. А потом стал издавать газету «Одесская почта» и безумно разбогател! Дома, дачи, собственный автомобильчик! В газете он держал трех фельетонистов. Один подписывался — Фауст, второй — Сатана, третий — Диаволло. Они писали как бешеные, и газетка шла нарасхват. Нашелся другой предприимчивый молодец и стал издавать другую газету, такого же пошиба, которую назвал не то «Наша почта», не то «Новая почта»,— слово «почта», во всяком случае, фигурировало в названии. Обе «Почты» грызлись между собой как собаки. Однажды новая «Почта» напечатала у себя портрет Финкеля: сидит в кресле, за редакторским столом, а над головой венок из селедок. В ответ Финкель разразился в своей «Одесской почте» передовицей под названием «Я, ты и Давидка» — так звали его конкурента. Тогда этот Давидка...

Акоп прервал его излияния вопросом в упор:

— Борис Львович, но ведь чтобы начать издавать газету, нужны деньги. Вы бы дали мне немного денег?

Борис Львович ответил почему-то по-украински:

— Це дило треба разжуваты!

Он подозвал официантку, расплатился за все, дружески кивнул нам:

— До свидания, мальчики. Мы еще вернемся к этому вопросу! — и ушел. Так мы и не узнали, как ответил Давидка на оскорбительную передовицу Финкеля.

II

Борис Львович дал нам денег! Он дал нам пятьдесят червонцев. Дал просто так, под наше коллективное честное слово — вернуть ему его червонцы «из оборота». А что еще, кроме честного слова, мы могли ему дать? Не вексель же?

Но еще более удивительным было то, что Акоп получил разрешение на издание газеты в местном Политпросвете! Как ему удалось задурить голову какому-то его работнику, Акоп и сам потом объяснить не смог. Тут сыграл свою роль футбол. Человек, подписавший официальную бумагу с разрешением издавать частную

газету «для освещения вопросов литературы и искусства», оказался страстным болельщиком команды «Унион», и у него не хватило духу отказать своему кумиру — непобедимому вратарю Акопу М.— в его скромной просьбе.

Достать в типографии бумагу и договориться с наборщиками о наборе было уже куда проще! Акоп и Леша побегали по городу и сумели вырвать объявления для первого номера от двух частно практикующих венерологов и трех зубных врачей. Борис Львович уговорил двух знакомых нэпманов-лавочников — те тоже отвалили нам немного денег за свои объявления. Потом Акоп с заранее напечатанным на машинке списком обошел людей, которые должны были писать статьи, обзоры, фельетоны и заметки для еженедельника «Искусство и жизнь» — видных в городе журналистов, литераторов, режиссеров, артистов, музыкантов. И каждый своей подписью подтвердил свое согласие быть сотрудником нового печатного органа, издаваемого таинственным «товариществом на паях». Так назвал себя наш осторожный издатель.

Редактором газеты (а вернее зиц-редактором) согласился стать Сергей П., петроградский поэт, бывший лицеист, безобидный, пухлый, бледный мужчина в пенсне. Он ходил по городу в сатиновой серой толстовке и в сандалиях на деревянной подошве. Кормила его какая-то сердобольная мещаночка — краснощекая, с жалостливыми глазами. Стихов его мы не знали. Говорили, что он друг Михаила Кузмина, изысканного литературного сноба, известного стихотворца.

Где хватит слов, чтобы описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат...

За три дня мы «сделали» первый номер еженедельника. Акоп написал передовицу и взял интервью у режиссера драматического театра. Рецензии на спектакли, статьи, хроника — все было в первом номере. Я дал стихотворение «Леди Гамильтон»,— в городе в те дни шел английский фильм под таким названием. Стихотворение кончалось строками:

И, зарыдавши, леди Гамильтон
Ребенка Нельсона на камни в грязь уронит.

Леша прочитал стихи и сказал:

— У тебя вши вылезли!

— Откуда вши?! Какие вши?!

— Ну вот же: «зарыдавши». Замени глагол!

Я бился, бился, но так и не нашел замены: другие глаголы, аналогичные по смыслу, не влезали в ритмику стихотворения. Так эти несчастные «вши» и выползли на газетную полосу!

Первый номер еженедельника «Искусство и жизнь» был набран, вышел из печати и поступил в продажу! В самую последнюю минуту друг Михаила Кузмина что-то скумекал и отказался поставить свою подпись под номером. Не долго раздумывая, Акоп велел набрать на последней полосе в правом нижнем углу: за редактора Акоп М.

По городу забегали мальчишки-газетчики, верноподданные Акопа по его футбольной короне, заголосили звонко и яростно:

— Новая газета «Искусство и жизнь»! Акоп — редактор!

— Хватайте, читайте, новая газета! Акоп — редактор!

Тираж быстро разошелся. Мы торжествовали победу.

А на второй день после выхода нашей газеты грянул гром. В городской газете «Красное знамя» были опубликованы два письма — одно уважаемого в городе журналиста В., а другое — актера драматического театра И. Журналист, актер писали, что они никакого отношения к листку «Искусство и жизнь», издаваемому неким подозрительным «товариществом на паях», не имеют и согласия сотрудничать в нем не давали. Между тем в нашем списке людей, давших свое согласие сотрудничать, собственноручные подписи журналиста В. и актера И. стояли. На следующий день «Красное знамя» опубликовало еще три таких же письма, потом еще два. Акоп в редакции «Красного знамени» благоразумно не появлялся все эти дни, но он знал, что могущественный редактор городской газеты Георгий Михайлович взбешен до крайности, что он рвет и мечет, что это именно он вызвал к себе уважаемого журналиста В. и поставил перед ним такую дилемму:

— Выбирайте, где вы хотите работать: у меня, в «Красном знамени», или в грязном листке у вашего Акопа!

Журналист В. выбрал «Красное знамя» и написал свое письмо в редакцию.

Мы стали готовить второй номер, решив дать открытый бой отступникам. Список с фамилиями тех, кто изъявил свое согласие сотрудничать в еженедельнике «Искусство и жизнь», а потом отрекся от него, был сфотографирован и склиширован. Мы с Акопом просидели всю ночь над передовицей. Статье был предпослан эпиграф из поэмы «Двенадцать» Блока: «Каждый ходок скользит!— Ах, бедняжка!»

Сдали второй номер в типографию. Набрали. А накануне его выхода в свет ко мне в комнату на Гимназической постучали. Дверь открыл Акоп. На пороге стоял некто в замусоленных синих галифе и защитной гимнастерке, на голове — красная вылинявшая гусарская фуражка с темным кружком на месте содранной офицерской кокарды. На бедре у него болтался футляр для парабеллума, такой большой, что его низкорослый обладатель выглядел как приложение к своей деревянной кобуре. Он был небрит — щеки в седой щетине — и очень мрачен.

— Кто из вас Акоп М.? — спросил грозный наш гость.

— Я! — сказал Акоп довольно бодро.

— Идемте со мной. Вас ждут!

— Где меня ждут?

— В типографии. Вот!

Он протянул Акопу какую-то бумажку. Акоп прочитал и сказал мне с кривой усмешкой:

— Ну, когда люди так просят — придется идти!

— Скорей возвращайся! — сказал я.

— Постараюсь, но это уже зависит не от меня. В общем... на всякий случай... мамин адрес ты знаешь!

Посланец в гусарской фуражке зловеще усмехнулся.

Вернулся Акоп через три с половиной часа. Вошел в комнату, опустился на тахту, помолчав, сказал:

— Свершилось.

— Что свершилось?

Акоп отвернулся, голос у него дрогнул:

— Нас закрыли. Тираж второго номера конфискован. Я сам должен был таскать кипы в грузовик. Самое обидное, что никто из этих «ходоков» теперь не прочтет нашу передовицу!

Наутро Акоп пошел в «Красное знамя», чтобы узнать о своей дальнейшей судьбе. Редактор Георгий Михайлович — пожилой, статный, с горящими черными глазами, с пышной шапкой седеющих волос, похожий на кардинала из «Овода»,— сидел за столом и что-то писал, когда Акоп вошел в его кабинет.

Акоп стоит и молчит, редактор сидит и пишет. Потом, как рассказывал впоследствии Акоп, между ними произошел такой диалог:

— Вы понимаете, что вы сделали?

— Не понимаю, Георгий Михайлович.

— Очень жаль, что вы — сотрудник партийной газеты — этого не понимаете. Вы предоставили печатную трибуну классовому врагу — нэпману, пошли к нему в услужение. Мы сейчас даем жить этим «цыпленкам жареным», но кукарекать в печати мы им никогда не дадим! Диктатура пролетариата незыблема. Никто не должен этого забывать!

Редактор склонился над столом и снова стал что-то писать.

Редактор сидит и пишет, Акоп стоит и молчит.

Наконец редактор поднял голову.

— Что вы стоите как столб?

— Я жду, что вы еще скажете?

— Я вам все сказал!

— Что мне теперь делать?

— Работать! — На суровом кардинальском лице редактора появилась тень улыбки.— Тем более что информация в газете мерзостно запущена из-за ваших... блужданий между искусством и жизнью. Идите!

Акоп вышел из кабинета редактора, надел себе на шею связку бубликов, нанизанных на мочало, и побежал по городу собирать новости для «Красного знамени».

Вскоре он переехал в краевой город, где жили его родители, и устроился на работу в большую популярную газету.

Борису Львовичу мы вернули двенадцать червонцев — то, что у нас осталось. Он был доволен, что все обошлось гладко, и, поняв, что разбогатеть на издании газеты ему, увы, не удастся, куда-то уехал. Леша Г. тоже был на отлете — папа-профессор списался со своим ленинградским институтом и окончательно решил вер-

нуться в Северную Пальмиру. Да и мне тоже предстоял перевод в университет в краевой город. Распалось наше «товарищество на паях»!

Тут можно было бы поставить точку, но жизнь сделала еще один виток. Через полгода после того как нас закрыли, а может быть, и побольше, я на свой адрес, указанный на последней полосе покойного еженедельника «Искусство и жизнь», как адрес его редакции, получил заказное письмо из Москвы.

«Сообщите, пожалуйста, тираж вашего еженедельника и фамилию редактора,— для внесения этих сведений в намеченный к изданию справочник «Вся Россия».

Я показал письмо Леше Г. и сказал ему:

— Ну что, по-твоему, я могу написать им в ответ?

Леша залился своим удивительным смехом и, отфыркав и отфукав, простонал:

— Ответь им гробовым молчанием. И концы — в воду!

Я так и сделал — опустил концы в воду. И, боже ты мой, сколько воды утекло с тех пор!

Прекрасная дама

1

В 1924 году я жил в большом и шумном южном краевом городе. Я учился в тамошнем университете на экономическом факультете и одновременно — «в рассуждении, чего бы покушать»— служил в объединении производственно-потребительской кооперации инвалидов в качестве секретаря правления. При тогдашней факультативной системе высшего образования посещение лекций было не обязательно.

Кроме того, я писал стихи. В наших литературных кругах, разделенных на два враждующих лагеря — рапповцы [1] и члены Союза поэтов,— я считался левым попутчиком. В моем бумажнике хранился зеленый картонный билетик члена Всероссийского Союза поэтов за подписью его председателя Захарова-Менского. Стихов

[1] РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей.

Захарова-Менского я не читал, ничего о нем не слышал — ни плохого, ни хорошего, но меня, помню, коробило и удивляло, почему во главе Союза поэтов России должен стоять обладатель этой мало кому известной фамилии! В звучании ее к тому же было нечто непристойно-козлиное: М-э-э-энский.

Я считал, что писание стихов для меня главное в жизни. Но главным, конечно, была моя служба у инвалидов. Она не только меня кормила, в ней был смысл и общественная польза.

Наши инвалидные артели пекли торты и пирожные, тачали сапоги, шили костюмы и платья, лудили посуду и чинили замки и примусы, вязали дамские кофточки и делали игрушки для детей. У нас были свои мастерские, свои фотографии, свои кондитерские и кафе, свои магазины, свои небольшие заводики. И везде работали однорукие и одноногие (а то и совсем безногие), полуслепые (и совсем слепые), простреленные насквозь, изрубленные и исколотые, залатанные и заштопанные полевыми хирургами люди — инвалиды двух жестоких, недавно отгремевших войн — империалистической и гражданской.

Руководили инвалидным объединением хорошие мужики, бывшие царские солдаты и бывшие красноармейцы, честные, простодушные, но не очень-то грамотные люди. И вот в этот своеобразный мирок угодил я, девятнадцатилетний студент, поэт, завороженный стихами Блока, носивший — страшно вспомнить! — черную бархатную куртку, казавшуюся мне тогда воплощением изысканности и тонкого вкуса.

Приняли меня у инвалидов тем не менее хорошо, с отеческим расположением. Моим шефам нравилось, как я составляю протоколы заседаний правления. Я писал их с таким же рвением, как и стихи, и мое канцелярское творчество нашло своих ценителей, чего нельзя было сказать о поэтическом. Особенно благоволил ко мне заместитель председателя объединения Иван Афанасьевич Михайленко, белобрысый, курносый, с трудом скрывавший свою природную застенчивость, совсем еще молодой человек, в прошлом красноармейский комроты с простреленной под Перекопом грудью.

— Ты, Леванид, у нас тут не тушуйся,— учил он меня на первых порах,— инвалиды — народ тихий, мир-

ный, ты их жалей, но... разбирайся! Среди них попадаются такие жуки, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Даже твоим! К тебе наш знаменитый Хопров еще не приходил?

— Нет!

— Придет!

— А кто он такой, этот ваш знаменитый Хопров?

— Он инвалид. Настоящий, не липовый. Из брусиловских солдат, его в Галиции шарахнуло, сильно контузило! Тут все чисто у него. Но... горький пьяница, буян, драчун. Жену смертным боем бьет, а сам ее хлебушко ест! Во всех артелях побывал, изо всех прогнали. Придет, будет у тебя денег на водку просить — не давай. Станет зубами скрежетать и падучий припадок изображать — не пугайся. Кинется бить — зови меня!

Знаменитый Хопров не заставил себя долго ждать и появился в моем фанерном кабинетике вскоре после этого разговора. Болезненно бледный, рыжеватые волосы на голове коротко подстрижены, глаза мутные, бегающие. Одет опрятно: под пиджаком линялая, но чистая рубаха с пояском, приличные брюки. Башмаки рваные.

Вошел он ко мне с улыбкой, деланной и неприятной. Бросились в глаза его крупные, редкие волчьи зубы.

— Здрасьте вам,— сказал Хопров и подал мне вялую, холодную руку.— Я Хопров. Слыхали про такого?

— Слыхал! Садитесь, пожалуйста.

Хопров сел. Он продолжал улыбаться, бесцеремонно рассматривая меня.

— До вас в этом кабинете сидел один хлюст, он нашего брата, инвалида, не уважал, гад. Его что, прогнали?

— Не знаю.

— Пусть матерь божию и святых угодников благодарит, что его тихонько отсюда убрали, я бы его, гниду офицерскую, все равно бы пристукнул, у меня справка есть, что я психически неответственный, мне ничего бы не было.

Он оскалился пошире и закончил многозначительно:

— И не будет!

Мы помолчали. Хопров кашлянул и спросил меня ласково и кротко:

— Это правда, что ты стюдент?

— Правда!

— Я тебе сейчас екзамент сделаю, стюдент. Мне деньги нужны, детки плачут, исть просют, самому кушать нечего. Дай червонец, будь человеком!

— У меня нет денег!

— Сидишь рядом с денежным ящиком (все еще улыбаясь, Хопров показал глазами на несгораемый шкаф: он стоял в моем кабинете. Первое время я по совместительству был еще и кассиром), а говоришь, денег нет! Вынь из кармана ключ и достань червяка.

— Я не имею права распоряжаться казенными деньгами. Нужно решение правления.

— А издеваться над инвалидом, контуженным во все части тела,— такое право тебе дали? — Хопров сжал рот, и я услышал его «скрежет зубовный». Он рывком поднялся со стула, на котором сидел, подошел вплотную к стене моего кабинета, стал стучать о стену затылком. Глаза у него закатились, на лиловых губах пузырилась слюна.

Я не стал ждать, когда он перейдет ко второй части своей программы и кинется меня бить, и позвал Ивана Афанасьевича.

Иван Афанасьевич тотчас же появился на месте происшествия. Он посмотрел на продолжавшего колотить затылком о стену Хопрова, усмехнулся.

— Пожалей фанеру, Миша! — сказал Иван Афанасьевич и подмигнул мне:— О капиталку никогда затылком не бьется, только о фанеру!

Хопров выкрикнул ругательство, упал на пол, стал сучить ногами в рваных, грязных башмаках. Доброе лицо Ивана Афанасьевича искривила гримаса жалости. Хопров продолжал корчиться и хрипеть.

— Вставай, Миша,— глухо сказал Иван Афанасьевич.

Хопров затих, поднялся. Дышал он тяжело, верхняя губа у него дергалась. Иван Афанасьевич достал из кармана кошелек, высыпал мелочь в протянутую руку Хопрова.

— На мерзавчик тебе хватит, больше не надо.

— Спасибо, Иван! — хрипло сказал Хопров и ушел, даже не взглянув на меня. Иван Афанасьевич постоял, хотел что-то сказать, но ничего не сказал, только вздохнул и ушел к себе.

2

Из членов нашего правления нравились мне трое: армянин Челикян, наш коммерческий директор, царский солдат, георгиевский кавалер, потерявший под Варшавой ногу, добряк и умница; еврей Мошкович, рыжий, веснушчатый, франтоватый — весельчак и анекдотист, тоже царский солдат и тоже георгиевский кавалер, да еще получивший на фронте все четыре Георгия — полный бант. Простреленный австрийцами и немцами насквозь в нескольких местах, он, однако, сохранил в целости и сохранности руки, ноги, чувство юмора и свои незаурядные организаторские коммерческие способности.

Челикян и Мошкович дружили, но подшучивали и подтрунивали друг над другом, отпуская взаимные шпильки и колкости. Придет, бывало, Мошкович в объединение (сам он работал в одной из наших артелей) к Челикяну с очередным своим «гениальным предложением» по части инвалидной коммерции, Челикян его внимательно выслушает и вынесет короткий приговор:

— Типичная афера!

Мошкович бурно негодует:

— Павел! Неужели я способен вовлечь тебя, своего друга, в какую-то там аферу?!

— Моисей! Запомни: еще не родился тот человек, который способен перемудрить меня!

— Павел! Запомни: если бы я захотел, я бы обвел тебя вокруг своего пальца в одну секундочку!

— Нет, Моисей, ты бы не смог этого сделать, потому что я схватил бы тебя за руку на полсекундочки раньше!

И еще очень нравился мне Сергей Степанович Щербатов, председатель самой крупной нашей артели, занятой металлоремонтом и даже имевшей свой небольшой гвоздильный завод. Рослый, суровый на вид, с мохнатыми белесыми бровями, лет сорока с небольшим. Он не был инвалидом, его направили на работу в инвалидную кооперацию как хорошего хозяйственника.

3

Челикян и Мошкович вместе задумали и сумели через все инстанции протащить и утвердить очень выгодное для инвалидной кооперации начинание.

Под городом был разведан источник целебной минеральной воды — местный нарзан. Розлив и продажу воды в киосках и из передвижных колясочек с сатураторами решено было сделать монополией инвалидов. У нас появилась возможность дать хорошую, нетрудную работу не одной сотне наших калек!

Церемония передачи источника инвалидам превратилась в наш праздник. Мошкович, несмотря на противодействие экономного Челикяна, настоял на том, чтобы на церемонии играл духовой оркестр.

Алую ленту на калитке штакетника, ограждавшего источник, перерезал большими портновскими ножницами (их принес тот же Мошкович) Иван Афанасьевич. Оркестр грянул марш, выстроенные заранее в одну шеренгу наши безногие и безрукие воины в белоснежных фартуках, вооруженные колясочками с сатураторами, двинулись и стали угощать нарзаном людей, пришедших поглазеть на странное это и горькое зрелище. Я взглянул на своих соседей: по рыжим щекам Мошковича катились слезы, крупные, как его веснушки; Челикян подозрительно морщил свой крупный армянский нос, Сергей Степанович прикладывал к глазам белый чистый платок. Это меня удивило. Подобная чувствительность, казалось мне, была несвойственна его суровой, даже жесткой натуре. Ко мне подкатил свою колясочку Хопров, трезвый и тихий. Он нацедил в стакан ледяного нарзана, подал мне, ощерив в улыбке волчьи зубы.

— Пей, стюдент, я тебя угощаю!

Я поблагодарил и выпил.

— Теперь у нас с тобой дело так на так пойдет,— сказал Хопров, — я тебе — стакан нарзану, ты мне — стакан водки. По рукам, стюдент?

Он засмеялся, кивнул мне и покатил колясочку дальше.

4

Дней десять спустя, в воскресенье перед вечером, я вышел прогуляться на главную улицу города. Жара еще не схлынула. Пыльная листва бульварных акаций задыхалась от зноя. Из шашлычных и закусочных тянуло горелым бараньим салом и прокисшим вином —

тошнотворными запахами надвигавшейся городской ночи.

Мне хотелось есть, я был голоден, а в кармане моей бархатной куртки лежали деньги — гонорар за стихи, опубликованные в местном журнале. Я дошел до ресторана, расположенного в подвале пятиэтажного дома, спустился по лестнице вниз и сел за столик. Ресторанный зал в этот час, который французы называют «между волком и собакой», был почти пуст. Я заказал себе еду и стал рассматривать пышное убожество художественного оформления зала. Потолок был украшен росписью, изображавшей обнаженных нимф, их тяжелые розовые ягодицы нависали над головами посетителей. Стены были отданы русалкам, они пленяли кутил своими мощными бюстами и рыбьими хвостами, раздвоенными на конце, как у акул.

Я уже приканчивал свой бифштекс по-деревенски, запивая его жесткую плоть нашим инвалидным, увы, теплым нарзаном, как вдруг в зале появился Сергей Степанович. Он увидел меня и подошел к моему столику. Мы поздоровались, он сел, и тут я заметил, что Сергей Степанович сильно и мутно пьян. Он был бледен, глаза воспалены, ворот белой сорочки расстегнут, и узел галстука ослаблен и опущен вниз.

— Ты чего сюда пришел? — спросил он меня, наливая себе в стакан нарзану.

— Пообедать!

— Нашел где обедать!

Он одним глотком осушил стакан с нарзаном, поднялся, скомандовал:

— Идем!

— Куда, Сергей Степанович?

— Ко мне. Тут, в кабинет. Гулять будем!

— Мне надо расплатиться.

— Не надо, я скажу — приплюсуют к моему счету.

— Мне неудобно, Сергей Степанович!

— Ерунда! Копейки! Идем!..

Стол в отдельном кабинете на галерее был богато накрыт: дорогие закуски, зелень, фрукты, холодная водка в запотелом графине, коньяк, узкогорлые кегли винных бутылок. Сергей Степанович взял одну из бутылок, налил в хрустальный фужер белого вина.

— Пей.

Вино было превосходное — с легкой горчинкой.

— Закусывай!

— Я сыт, только что пообедал!

— Ничего. Ешь! Бери икру, балык...

Он встал, открыл дверь из кабинета в коридор, выкрикнул пьяно, хрипло:

— Федор! Иди сюда!

Вошел официант. Опухшее, картофельно-белое лицо Смердякова, с начесом жирных белесых волос на низкий лоб. Толстые сильные плечи под черным заношенным смокингом с атласными отворотами, белая несвежая бабочка галстука.

— Федор! — сказал Сергей Степанович.— Это мой друг! — Он показал на меня глазами.

Официант осклабился.

— Сергей Степанович, но ведь Вера Эдуардовна уже выехали-с. Они не любят, когда посторонние...

— Да, да! Ладно! Ступай пока!

Официант скрылся. Сергей Степанович сел, откинулся на спинку стула и так долго сидел, молчал, глядя в одну точку. Казалось, он забыл о моем существовании. Потом поднялся: «Сиди тут, не уходи, пока я не вернусь!» Я остался в кабинете. Прошло минут пятнадцать, двадцать. Дверь без стука отворилась, и в кабинет из коридора вошла женщина. Она была в черном шелковом платье, в черной шляпе с широкими полями, украшенной маленьким букетиком искусственных фиалок. Золотистые, как у венецианок на портретах старых мастеров, волосы. Милое темноглазое лицо с нежным румянцем на щеках, милая, мягкая, застенчивая улыбка. Она была вся очарование и благородство. И вся — загадка. Женщина остановилась в дверях, сказала нерешительно:

— Я, кажется, не туда попала. Мне нужен Сергей Степанович!

— Он сейчас придет.

Она протянула мне руку.

— Вера Эдуардовна!

Я назвал себя.

— Вы сослуживец Сергея Степановича?

— Да! Но я еще учусь в университете. На экономическом. Садитесь, пожалуйста!

— Это хорошо, что вы учитесь,— сказала она наставительно, как старшая сестра, и села.

— Вы позволите мне налить вам вина?

— Налейте.

Я налил себе и ей. Мы выпили. Я сказал:

— Вы вошли сюда как Прекрасная Дама Блока. Помните?

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

Она улыбнулась все так же застенчиво и мило и продолжила стихотворение:

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

— Так?

— Так!

Я взял ее руку — узкую, холеную, — поцеловал. Она спросила:

— Вы любите Блока?

— Очень.

— Я тоже. Вы, наверное, сами поэт?

Я покраснел и признался, что пишу стихи.

— Прочтите что-нибудь!

Я покраснел еще больше и стал, омерзительно завывая, скандировать:

Много желтых роз вокруг фонтана,
Ты сюда приходишь в час закатный....

И тут в кабинет вошел Сергей Степанович. Хмель разбирал его, он сильно пошатывался.

— Очень приятно, что вы прибыли! — сказал Сергей Степанович и тяжело плюхнулся на стул рядом с Верой Эдуардовной.

— Ой, пьяненький какой! — сказала женщина и небрежно погладила Сергея Степановича по голове. Так гладят больших, свирепых с виду, а на самом деле добрых и смирных псов.

— Угощайтесь, Вера Эдуардовна! — встрепенулся

Сергей Степанович и сказал мне с упреком: — Леня, что же ты за дамой моей не поухаживал?!

— Он ухаживал, не беспокойтесь! — Вера Эдуардовна оглядела стол.— Боже мой, зачем все это?! Вы же знаете, что я не люблю эти ваши купецкие загулы!..

Понимая, что я здесь лишний, я встал, извинился и вышел, сказав, что скоро вернусь. И, конечно, не вернулся.

А через три дня Сергей Степанович покончил с собой, выстрелив из нагана себе в рот. В его артели проверка финансовых дел обнаружила крупную растрату. Говорили, что в падении Сергея Степановича повинна какая-то «женщина с улицы». Я был потрясен. Это милое, благородное лицо, эта застенчивая улыбка...

Я набрался храбрости, зашел в подвальный ресторан и спросил официанта Федора. Его позвали. Он вышел ко мне в вестибюль с салфеткой на руке, такой же опухший и наглый. Я спросил его:

— Вы знали Сергея Степановича Щербатова?

— Это который себя хлопнул? Ну, знал! А что?

— Помните, я был с ним в кабинете, когда сюда приезжала одна женщина... Вера Эдуардовна?

Он наморщил низкий лоб.

— Не помню.

— Не знаете, кто она такая, эта Вера Эдуардовна?

— Откуда мне знать?! Мало ли у нас здесь (с его губ легко слетело грязное словечко) бывает!— Он взмахнул салфеткой перед моим носом, повернулся и ушел. А я остался стоять в вестибюле этого полупритона, подавленный, униженный и несчастный.

Бородатый швейцар в фуражке с дурацкими золотыми позументами, подозревая, видимо, что-то неладное, сказал мне:

— Молодой человек, или проходите в зал, или...

Он показал рукой на дверь.

Я выбрал второе «или» и вышел на улицу. В тот вечер я впервые испытал ощущение человека, которому жить не хочется.

Бедный гусар

О бедном гусаре замолвите слово...
Из старинного романса

I

Ранней весной 192... года шел я по главной улице южного города, ставшего для меня, петроградца, родным.

Шел, никуда не торопясь, — день был воскресный, а погода отличная: солнце уже не ласкало, а жгло, «словно щек краснота», но это легкое и очень приятное жжение смягчал свежий и влажный мартовский ветерок.

Я шел без дела, но цель у меня была: я надеялся встретить на улице Нату Б., в которую был влюблен без памяти.

В такое замечательное воскресное утро, думал я, Ната не усидит дома и обязательно пойдет погулять или с подругой, или со своей старшей сестрой — Верой Сергеевной, моей сослуживицей. А куда люди идут гулять в южных городах? Или на главную улицу, или в городской парк — вот я по главной улице и приду в парк на нашу любимую аллею и уж там-то обязательно разыщу Нату.

Я шел, равнодушно поглядывая на прохожих, и вдруг... словно молния ударила в плиты тротуара и бездна разверзлась передо мною — я увидел идущую мне навстречу Нату! Но не с подругой и не с сестрой, а с незнакомым мне молодым человеком.

Ната была вся в белом: в белом платье с короткими рукавами, несколько легкомысленном даже для конца южного марта, в белой шляпе с большими полями, красиво затенявшими верхнюю часть ее прелестного лица с фиалковыми глазами. Кожа на ее лице и открытых руках была золотистого тона, редкого для блондинок. Она была хороша как никогда! А уж спутник ее выглядел совершенно ослепительно.

Было самое начало нэпа, все одевались кто во что горазд, на улицах городов преобладал серый шинельный и защитно-зеленый гимнастерочный цвет — люди донашивали то, что оставила им только что отгремев-

шая гражданская война, а здесь... Натин молодой человек был в новехонькой темно-синей со стоячим воротником из серого каракуля венгерке, в алых бриджах с широким золотым кантом — басоном, в высоких шевровых сапогах с маленькими кокардочками спереди на голенищах у колена. На голове у него чуть набекрень сидела алая фуражка — без царской кокарды, но и без красной революционной звездочки.

Спутник Наты был одет с намеком на форму лейб-гвардейского гусарского полка, шефом которого был сам российский император, только у царскосельских гусаров верхний этаж был красным, а нижний — синим. Тут цвета были взяты в обратном порядке.

Мы поравнялись.

— Здравствуй, Ната!

Ната состроила несвойственную ей светскую улыбочку.

— Здравствуй...те, Леня! Познакомьтесь, Саша!

Молодой человек с подчеркнутой небрежностью вскинул руку и, не донеся ее до козырька алой фуражки, резко бросил вниз.

— Сергеев.

Правильные черты лица, бирюзовые глаза, не выражающие ничего: ни доброты, ни злости, ни скрытого ума, ни явной глупости, нежно-розовые, словно из тонкого дорогого фарфора, щеки, безвольная линия рта. На кого он похож?! На какого-то очень известного человека...

Господи, да конечно же на Николая Романова, на бывшего царя. Если прицепить молодому человеку к синей венгерке рыжеватые усы и бородку, он станет как две капли воды похож на олеографический портрет последнего русского самодержца.

Молодой человек, назвавшийся Сергеевым, извинился перед Натой и отошел — купить у мальчишки-разносчика папирос. Ната смотрела на меня улыбаясь, и это была уже ее настоящая, Натина, добрая, бесконечно милая улыбка. Мне казалось, что все улыбается в такие минуты в Нате: улыбаются даже ее дивные густые волосы цвета спелой пшеницы, улыбается все ее созревшее для любви красивое сильное тело.

— Что это за ферт у тебя появился? — спросил я Нату, показав глазами на ее гусара.

— Саша живет у нас уже третий день. Папа с ним где-то познакомился, он пожаловался, что ему негде жить, и папа его пригласил к нам. Мы его поместили в кладовке рядом с кухней, где раньше Стеша жила.

Она покосилась на гусара — он заканчивал свою коммерческую операцию — и добавила шепотом, продолжая улыбаться:

— Приходи к нам вечером, я тебе все расскажу. Безумно интересно!..

II

Натин отец — бывший подполковник интендантской службы бывшего Кавказского фронта, Сергей Александрович Б., осанистый, полный, добродушный старик,— прошел через огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы гражданской войны на юге России и каким-то чудом уцелел. Его, как он говорил, «таскали многажды», он проходил регистрации бывших царских офицеров, многочисленные проверки в Особом отделе, его «вычищали» и восстанавливали и снова вычищали из учреждений, куда он устраивался на работу. Его, случалось, задерживали прямо на улице патрульные военного коменданта города, потому что он ходил в бурке и в черной косматой папахе и со своей седой генеральской «деникинской» бородкой выглядел таким отъявленным «золотопогонником», что у патрульных невольно возникали хватательные импульсы.

И все в конце концов кончалось для старика благополучно.

Сам он, посмеиваясь, говорил об этом так:

— А за что, собственно, меня надо брать к ногтю? Не за что! Служил? Да, служил. Но не воровал, как другие интенданты. Может быть, «они» это как раз и учитывают!

Подполковничья семья жила скудно, но весело и беспечно. Дочки служили, отец тоже подрабатывал как мог и чем умел. Приходилось продавать вещи. Они уплывали на рынок, превращались в масло, в крупу, в муку, в баранью ляжку.

Бывший интендант любил поесть и сам готовил разные вкусные кушанья не хуже ресторанного повара. С ним приятно было распить за ужином бутылочку деше-

вого кахетинского вина или посидеть за вечерним чаем. К чаю подавали хворост — подполковник сам его пек в кипящем горчичном масле. Объедение!

Большой любитель и знаток преферанса по маленькой, он открыл секреты этой игры своим дочкам, а те — мне. Но я оказался тупым учеником и в итоге семейных пулек всегда оставался в проигрыше. Но подполковник любил меня не только за это. Жена его, Екатерина Николаевна, седеющая представительная дама, типичная «мать-командирша», тоже относилась ко мне с материнским участием. В свои семнадцать лет я — ответственный беспартийный профсоюзный работник — жил в городе один. В доме у Наты я нашел то, чего мне так не хватало,— теплоту семейного уюта.

Сергей Александрович и Екатерина Николаевна знали, что я влюблен в Нату и что она ко мне тоже благосклонна, но не придавали серьезного значения нашему роману. Они мечтали о другом женихе для своей дочки-красавицы, я был в их глазах всего лишь мальчишкой-безотцовщиной, они меня просто жалели по доброте душевной. Да я и сам не представлял себя в роли Натиного мужа. Я жил своим чувством и был счастлив не взаимностью любви, а от одного сознания, что на свете есть Ната со своей улыбкой, со своей золотистой кожей и фиалковыми глазами и что, когда поздно вечером она выйдет провожать меня на крыльцо белого особняка на тихой тенистой улице, мы долго будем стоять, прижавшись друг к другу, целуясь до головокружения, почти до обморока.

«Только утро любви хорошо!» — мудрость этой строки старого поэта постигаешь, увы, уже на закате жизни.

III

Вечером я пришел к Нате, но дома застал лишь одну Веру Сергеевну. Старики ушли в гости, а Ната, как сообщила мне, многозначительно улыбаясь, ее сестра, «куда-то убежала со своим Сашей».

«Со своим Сашей» — я не сумел скрыть, как больно хлестнули меня по сердцу эти слова.

— Но вам велено ее ждать! — добавила Вера Сергеевна, поглядывая на меня, как мне показалось, с кол-

ким сочувствием. Молодая вдова пехотного поручика, погибшего под Эрзерумом, она была непохожа на свою сестру, но тоже хороша собой: высокая темная шатенка, длинноногая, гибкая, с зеленоватыми насмешливыми глазами. К тому же она была умна, находчива и умела за себя постоять. Когда было нужно, она смело шла в Особый отдел и в другие столь же серьезные учреждения хлопотать за отца и всегда находила общий язык с их работниками.

Вера Сергеевна сидела с ногами на диване и курила тонкую дамскую асмоловскую папиросу.

— Кто он такой, этот ее Саша? — сказал я, справившись наконец со своим шоком.

— Вас интересует настоящее Александра Михайловича или его прошлое? — спросила Вера Сергеевна в своей обычной иронической манере.

— Сначала настоящее.

— Оно неинтересно. Какая-то тыловая служба снабжения при крупной кавалерийской части. Но его, кажется, не то уже демобилизовали, не то на днях демобилизуют. В общем, папа взял его под свое крыло... Да, у нас новость: папа поступил на службу.

— Поздравляю! Куда?

— Не поздравляйте,— к нэпманам. Три богатых мельника-арендатора образовали «товарищество на паях» и собираются, как они говорят, «раздуть большое кадило». Папа у них главный раздувальщик. По-моему, он делает ужасную глупость, но меня он не слушает. Деньги они ему пока платят хорошие. Папа хочет и Сашу туда же пристроить — к этим нэпманам. Для представительства... Вот теперь о его прошлом...— Она аккуратно притушила окурок в пепельнице.— На кого Саша похож, вы обратили внимание?

— На Николая Романова. Уж не брат ли он покойного цесаревича Алексея?

Вера Сергеевна усмехнулась, покачала красивой головой:

— Нет! Но могу сказать одно: он, безусловно, из царской фамилии. Сам Саша говорит, что он «дитя незаконной любви». Его мать, бывшая смолянка из бедных девушек-дворянок, служила при дворце в Царском Селе, и у нее, я так думаю, был тайный роман — видимо, с кем-то из великих князей. Не случись революции,

Саша сделал бы себе карьеру, служил бы в конной гвардии под негласным покровительством своего тайного папочки. А тут... такая неприятность! Но вообще он очень мил!

— Это все, что можно о нем сказать?

Вера Сергеевна подумала и сказала с серьезным видом:

— Еще о нем можно сказать, что он божественно, неотразимо глуп. В герои настоящего романа он не годится. Для представительства — еще туда-сюда, но всерьез... Так что... можете не умирать от ревности!

Из прихожей донесся долгий веселый звонок.

— Вот они, явились! — Вера Сергеевна поднялась и пошла отворять дверь.

Легко сказать: «Не умирайте от ревности!» Когда я увидел Нату, оживленную, улыбающуюся, и рядом с ней Сашу в белой гимнастерке с расстегнутым воротом, в тех же красных бриджах, когда заметил, что Натины глаза подолгу задерживаются на его изящной, стройной фигуре, меня бросило сначала в нестерпимый жар, а потом в такой же нестерпимый озноб.

Каким несчастным, одиноким и жалким чувствовал я себя в тот вечер! Один мой наряд чего стоит по сравнению с роскошными красными штанами «ее Саши!». На мне был кургузый темно-серый в мелкую клеточку пиджачок и коротковатые, не по росту, брючки. Такие готовые костюмы нам, профсоюзным работникам, выдали бесплатно по ордеру в Совете профессиональных союзов. Мы были счастливы, получив их, тем более что эти костюмы нам прислал из Рима в подарок профсоюз итальянских швейников. Подобрать костюм впору мне не удалось, пришлось взять, какой дали.

Саша чувствовал себя героем вечера, он много смеялся и острил. Меня его остроты бесили, и я решил про себя, что Вера Сергеевна права, говоря о его глупости.

Почему-то он захотел показать мне свою комнату, вернее, темный чуланчик, где помещались только кровать и стул. Распахнув дверь, он произнес, сделав широкий жест:

— Вот мой пинал, в котором я живу, как одинокий карандаш!

Вера Сергеевна и Ната засмеялись.

Я не выдержал и поправил его:

— Только не пИнал, а пЕнал.

— Именно пИнал, от слова «пинок», — сказал Саша и залился счастливым хохотом.

Пришли подполковник и Екатерина Николаевна. Они были со мной ласковы, как всегда, но мне показалось, что Саша им ближе, чем я. Несколько раз интендант назвал его на «ты». Когда он попросил Сашу помочь ему наколоть щепок для самовара и гусар, дурашливо щелкнув каблуками, молодцевато откликнулся: «Есть наколоть щепок, ваше высокородие товарищ командир!» — я поднялся и стал прощаться. Меня не уговаривали остаться, и Ната впервые не вышла на крыльцо меня проводить.

Я шел домой по боковой пустынной улице, и, боже ты мой, как тяжко было у меня на сердце от сознания, что я теряю Нату. Эта мысль приводила меня в отчаяние.

IV

Но все получилось иначе. Наверное, права была Вера Сергеевна: героем серьезного романа Саша стать не мог. И не потому, что он был пошл и глуп, впоследствии мне приходилось сталкиваться с пошляками и дураками настоящими, крупного калибра,— нет, тут было другое. В своем умственном развитии Саша остановился на отметке 14 — 15. Духовно он остался мальчиком, хотя физически это был сильный, красивый юноша, даже уже не юноша, а молодой мужчина. Ната быстро во всем этом разобралась и поняла, что Саша не только не герой ее романа, но даже и для представительства, как сказала Вера Сергеевна, не годится.

Саша жил в своем чуланчике, в доме интенданта, колол дрова, ходил с Екатериной Николаевной на базар — таскал за ней тяжелые корзины с продуктами, забавлял сестер своими мальчишескими выходками и шалостями. На службу к нэпманам Сергей Александрович его устроил, но и нэпманы, видимо, разобрались, что Саша не тот представитель, о котором они помышляли; из уважения к «главному раздувальщику» они, однако, терпели его никчемного помощника.

Как-то я пришел вечером к Нате. Дверь на мой звонок открыла незнакомая мне женщина в черной шляпе со страусовыми перьями, в бальном платье с глу-

боким декольте. Ее губы были грубо и ярко накрашены, бирюзовые глаза сильно подведены.

— Вы к кому? — спросила незнакомая женщина неестественно тонким голосом.

— К Нате!

— Ее нет дома!

Дверь захлопнулась. Недоумевая, я позвонил вторично.

— Что вам нужно? — отозвался за дверью тот же голос.

— Извините... а где Ната?

— В цирке!

— Как... в цирке?

— Она вышла замуж за лилипута и сегодня в первый раз с ним выступает на арене.

За дверью поднялась какая-то возня, послышался приглушенный смех. Потом дверь распахнулась, и я увидел хохочущую Нату, а за ее спиной незнакомую женщину. Свою шляпу со страусовыми перьями она держала в руке. Это был Саша.

— Неужели ты не заметил вот это! — сказала Ната, показав на рыжеватую мужественную курчавость, украшавшую Сашино декольте, и продолжая смеяться. — Мы с Верочкой хотели его побрить, он не дался. У тебя есть папиросы?

— Нет!

— Саша! — приказала она гусару.— Идите за папиросами!

— Есть идти за папиросами. Переоденусь и побегу.

— Я хочу, чтобы вы так пошли!

— Но, Наточка...

— Никаких «но». Ступайте так!

Саша отдал Нате шляпу с перьями, подобрал подол бального платья, открыв до колен ноги в высоких сапогах с кокардами, и храбро сбежал с крыльца.

В этот вечер Ната всячески подчеркивала свое расположение ко мне. Саша дулся, острил невпопад и, когда Ната в ответ на его остроты делала пренебрежительную гримаску, бледнел и умолкал надолго. На него было жалко смотреть.

Я ушел домой поздно. Ната вышла на крыльцо проводить меня, и наши объятия в тот вечер были особенно жаркими и головокружительными.

Я опять пошел по боковой, слабо освещенной улице и уже собрался свернуть в переулок, чтобы выйти на главную, как вдруг услышал позади себя быстрые шаги. Кто-то догонял меня. Я остановился и, обернувшись, увидел Сашу. Он подошел. Лицо у него было бледное, глаза, как мне показалось, выражали тоску и муку.

— Я хочу вас проводить немного! — сказал Саша глухо.— Только пойдемте по этой улице, тут людей нет.

— Пожалуйста.

Молча мы прошли с полквартала.

— Скажите, вы из дворян? — сказал Саша, искоса посмотрев на меня. Неожиданная нелепость его вопроса поразила меня. О чем он? Какие там дворяне?

На завтра назначено собрание служащих Потребсоюза, в правлении которого засели бывшие меньшевики, для обсуждения условий выработанного нашим профсоюзом коллективного договора. Правленцы намерены дать нам бой, возможно, придется в порядке нажима на них настаивать на такой крайней мере как забастовка. Поддержат ли нас кооператоры-служащие или пойдут за своими меньшевиствующими правленцами? Вот что меня заботило, а он...

— Допустим, из дворян,— сказал я.— Но какое это имеет значение!

— Большое! Если — да, то я могу вас вызвать, и мы будем драться. Запомните, что просто так я вам Нату не уступлю.

С такой же запальчивостью я ответил ему:

— Я вам тоже ее так просто не отдам!

— Вот и прекрасно! Будем драться!

— Интересно, на чем? На кулаках?!

— Ната говорила, что у вас есть револьвер.

У меня действительно хранился дома старенький отцовский «смитвессон», в его барабанчике гнездились пять боевых патронов, и я как-то похвастался этим перед Натой.

— Да, у меня есть револьвер. А у вас?

— У меня нет!

— Как же мы будем драться, если у нас имеется один револьвер на двоих?

Саша подумал и сказал:

— Мы бросим жребий, кому стрелять первому.

— Хорошо! Жребий выпадает вам. Что вы сделаете? Спокойненько меня шлепнете?

— Я... наверное... выстрелю в воздух,— сказал Саша.— А вы?.. Если жребий достанется вам?

— Наверное, тоже выстрелю в воздух!

— А если я вам разрешу сделать прицельный выстрел?

— Плевать я хотел на ваши разрешения!..

Мы прошли молча еще квартал.

— Я дальше не пойду! — тронул меня за рукав Саша.— Может быть, я достану второй револьвер? Во всяком случае, буду пытаться. До свиданья!

Тем же заученным конно-гвардейским жестом он кинул руку к козырьку фуражки, тут же бросил ее вниз и быстро зашагал по темной улице, гулко стуча каблуками по плитам тротуара.

V

Через неделю Саша и Сергей Александрович уехали в Баку по поручению своих мельников — доставать нефтепродукты — и пробыли там месяц. За это время случилось то, чего я больше всего боялся, а Саша не ожидал: появился серьезный претендент на Натину руку и сердце. Это был настоящий, солидный жених, ему было под тридцать лет, он был низкого роста, но красив — сероглазый, с профилем, как на римских медалях,— служил он в местном издательстве на ответственной должности и в городе пользовался славой опытного сердцееда. Евгений Григорьевич — так его звали — стал бывать в доме у Наты, он сразу понравился Екатерине Николаевне и Вере Сергеевне, и я понял, что если уж мне суждено потерять Нату, то это произойдет теперь, и именно Евгений Григорьевич нанесет мне этот смертельный, как я тогда думал, удар.

Когда Саша вернулся из бакинской поездки, роман у Наты с Евгением Григорьевичем был в зените своего развития.

Саша выглядел после месяца трудных разъездов плохо: осунулся, похудел и подурнел. Он стал носить серый пиджачок и черные галифе. Штатская одежда ему не шла, каблуки на его шевровых сапогах сбились и скособочились, кокардочки с голенищ он содрал. Ши-

карный гусар превратился в молодого приказчика из купеческого лабаза.

Я пришел к Нате и не застал ее дома. От Веры Сергеевны я узнал, что Ната ушла с Евгением Григорьевичем в кино. Появился Саша. Мы поздоровались, посидели, покурили, и я, сославшись на свою занятость, сказал, что мне надо идти домой — поработать.

— Я тебя провожу! — сказал Саша. Меня удивило, что он впервые обратился ко мне на «ты».

Мы пошли по той же боковой улице.

Саша сказал:

— Если я его вызову, ты будешь моим секундантом?

У меня было скверно на душе, но я не выдержал и усмехнулся.

— А ты уже установил его дворянское происхождение?

— Все равно буду драться. Даже с мещанином. В конце концов сейчас революция, с этим можно не считаться! Ты мне дашь свой револьвер?

Я пообещал дать, и мы расстались если не друзьями, то союзниками.

Дуэль между Сашей и Евгением Григорьевичем, однако, не состоялась, и не потому, что соперники не достали второй револьвер, а совсем по другой причине.

Мельники-арендаторы, по случаю удачного завершения бакинской поездки своего «главного раздувальщика», устроили выезд на охоту. Поехал и Саша. Один из нэпманов одолжил ему свою старую «тулку». Саша выстрелил по утке, не попал, но была сильная отдача, и удар приклада в плечо оказался таким чувствительным, что боль не проходила всю ночь после охоты. Не оставляла она Сашу несколько дней. Появилась опухоль в предплечье. Саша сказал, что дома его мать в таких случаях растирала ушибленное место муравьиным спиртом и это помогало. Спирт достали. Вера Сергеевна и Ната своими молодыми крепкими руками растерли больную руку докрасна. Наутро боль стала нестерпимой, а опухоль — зловеще-багровой. Пришлось отправить Сашу в больницу. Там установили саркому. Была назначена срочная операция, и хирург отнял правую руку бедного гусара вместе с ключицей.

Я пошел вместе с Натой проведать Сашу после операции. Первой к нему в палату пошла Ната. Она вы-

шла через пять минут, сдерживая рыдания, бледная и несчастная.

Саша, очень узкий, длинный, лежал на кровати, укрытый до горла серым больничным одеялом. Бледная желтизна заливала его лицо с горящими нехорошим огнем ярко-бирюзовыми глазами. Я наклонился над ним.

— Как ты себя чувствуешь, Саша?

Его синеватого оттенка губы изобразили нечто вроде улыбки.

— Представляю себе, как я буду торговать папиросами. «Купите папиросочку у инвалида!»

— Не надо так, Саша!

Он замолчал и закрыл глаза. Потом открыл их и едва прошелестел:

— А дуэль не состоится. Я ведь не левша и никогда не научусь стрелять левой рукой!

Через два дня он умер.

Сергей Александрович дал телеграмму его матери в бывшее Царское Село, ставшее городом Пушкином. Она приехала только через неделю. Я не видел ее, но Ната и Вера Сергеевна рассказали мне, что Сашина мать оказалась очень красивой, но уже увядающей женщиной, одетой во все черное, вплоть до черных траурных перчаток.

Она постояла у Сашиной могилы, прижимая крепко надушенный платочек к глазам, сказала несколько раз: «Pauvre enfant» и уехала на следующий день, увезя в своем чемодане темно-синюю венгерку и красные бриджи с золотым басоном. Ночевала она в гостинице.

Через месяц после смерти Саши Ната вышла замуж за Евгения Григорьевича. Свадьба была шумная, веселая. Я был приглашен на свадебный пир и приглашение принял. За ужином я много пил и когда поднялся, чтобы произнести тост в честь невесты, то неожиданно для себя самым пошлым и вульгарным образом разрыдался. Со мной в первый и в последний раз в жизни случилась истерика.

Сергей Александрович увел меня на кухню, дал воды с валерьяновыми каплями и, поглаживая меня по голове, долго бубнил что-то про муку, которая получится, когда нечто во мне перемелется.

И действительно, это нечто перемололось. Вскоре я

переехал в другой город и с Натой встретился спустя два года. Она располнела, стала настоящей дамой и была хороша, но как-то по-иному. Мы стали друзьями, и наши дружеские отношения длились очень долго. Но это было уже не то. Совсем не то!

Только утро любви хорошо! Только утро!..

Что такое экзотика

I

Я приехал в Ташкент в самом начале весны, в марте, а может быть, даже в феврале 1929 года, но в городе уже было жарко. Только поздним вечером и ночью, когда огромный город затихал в густой тени своих могучих карагачей под мелодичный лепет арыков, этих ташкентских соловьев,— дышалось легче.

Но — взялся за гуж, не говори, что не дюж! Надо было привыкать и к новому климату, и к новой обстановке, и к новым людям с их особыми нравами.

Я был здесь чужаком и новичком, мне приходилось туго, но редактор «Правды Востока», Георгий Михайлович П., пригласивший меня сюда на работу, естественно был заинтересован в том, чтобы я не ударил лицом в грязь, и всячески покровительствовал и помогал мне.

Самое главное для фельетониста (да и не только для фельетониста) — это найти верный тон в своих сочинениях, поймать в свои образные силки главную мелодию жизни той страны, того края, в которых ты живешь и о которых пишешь. Что я знал про Среднюю Азию, когда ехал сюда работать в газете? Да ровным счетом ничего! Бедная моя голова была набита литературными представлениями об Азии вообще, почерпнутыми из переводных романов Пьера Лети, Бенуа, блистательного Киплинга и других западных писателей!

Но они ведь писали по-своему и о своей Азии, ее пышная и таинственная, во многом выдуманная ими экзотика восхищала и ужасала их, и устами Киплинга

они вынесли ей свой приговор: восток есть восток, и запад есть запад, и они никогда не сойдутся.

Экзотика, конечно, была и у советской Средней Азии, но она была другая,— это я понимал. А какая именно?! Чтобы понять и познать ее, эту другую экзотику, надо было окунуться в жизнь среднеазиатских республик, потолкаться среди людей, узнать их труд, посидеть в чайханах, посмотреть перепелиные бои, послушать состязания базарных острословов — в общем, съесть пуд соли. Понимая, что пуд азиатской соли для меня слишком много и непосильно, я мечтал для начала хотя бы о ее щепотке!

Я пошел к Георгию Михайловичу, он был все таким же, каким я его помнил по прошлым годам: статным, с пышной седеющей шевелюрой, с черными огненными глазами,— похожий на кардинала из «Овода». Я рассказал ему о том, о чем сейчас пишу, и попросил дать мне командировку для поездки в глубь края.

Георгий Михайлович отнесся к моей просьбе снисходительно и даже сочувственно.

— И куда бы вы хотели поехать? — спросил он меня.

— Товарищи советуют — в Киргизию. За Джалал-Абадом в горах, в долине речки Кара-Су обнаружены выходы нефти прямо на поверхность. Мне хочется увидеть это собственными глазами и, может быть, поставить в газете вопрос о промышленной разработке джалал-абадских нефтяных ресурсов,— ответил я, стараясь произнести все это как можно убедительней и солидней!

Редактор «Правды Востока» усмехнулся краем рта.

— Эти нефтяные ресурсы — горячечная фантазия нашего экономического отдела, который вас, как я догадываюсь, инспирировал — но по существу вы правы, вам нужно просто поездить, присмотреться к жизни. Я вас отпущу в командировку, но с одним условием.

Улыбка его стала шире.

— Если вы прихватите с собой моего Юрку. Он поедет, конечно, без редакционной командировки, но под вашим присмотром. Он давно просится — мир посмотреть и себя показать!

Юра, сын Георгия Михайловича, 15-летний мальчик, мне нравился прежде всего тем, что он не был похож

на иных избалованных и развращенных отпрысков ответственных родителей,— он был скромен и мил. Я поспешил сказать Георгию Михайловичу:

— Пожалуйста, пусть Юра едет со мной. Но будет ли он меня слушаться?

— Я ему прикажу вас слушаться! Пусть в секретариате оформляют вашу командировку, скажите, что я разрешил.

Как на крыльях я вылетел из кабинета нашего, такого сурового и такого строгого — на вид! — ответственного редактора.

II

Единственным достоинством мягкого вагона в поезде Ташкент — Джалал-Абад было его относительное малолюдство — что же касается жары и духоты, царивших в этой раскаленной, ветхой как ноев ковчег, железной коробке, оснащенной грязными диванами-лежаками с выпирающими отовсюду острыми пружинами — то они, я думаю, превосходили творившееся в обычных жестких вагонах.

Мы с Юрой валялись в своем купе на этих грязных диванах в одних трусах и даже по вагону ходили в таком же виде, и симпатичные девушки-проводницы, типичные саратовские или самарские курноски с льняными кудряшками, поившие нас всю дорогу спасительным кок-чаем, смотрели на нашу вольность сквозь пальцы. Они бы и сами с удовольствием последовали нашему примеру,— не будь на свете таких вещей, как девичья скромность и железнодорожная служебная дисциплина.

Однако когда мы, уже одеты, вышли из вагона и пошли по главной улице Джалал-Абада в поисках пристанища,— мы с Юрой осознали в полную меру, что вагонная жаркая духота — это райская прохлада по сравнению с тем полыханием адского пламени, которым нас встретил Джалал-Абад. Солнечные лучи, прямые как клинки древних мечей, рубили булыжную мостовую. Все сверкало и сияло вокруг нестерпимым для глаз блеском,—противосолнечных очков в те времена не носили, во всяком случае, они были редкостью. Народу на улицах было мало. Протрусил мелкой рысцой

работяга-ослик серомышиной масти, весь как бы плюшевый, игрушечный — на нем, болтая ногами в черных громадных ичигах, грузно восседал смуглый бородач в белой чалме, промчался киргиз-извозчик, немыслимо шикарный, в красной рубахе с черной жилеткой и в ямщицкой шляпке, как бы дамской, с перышком. Фаэтон новенький, сверкающий лаком, вороные, потные, словно облитые маслом, худые, ребристые лошаденки старательно перебирают ногами. На заднем сиденье фаэтона развалился молодой человек в белом костюме, в соломенной кепке, с портфелем под мышкой. Потом я узнал, что по приказу одного из председателей джалал-абадского горсовета тех времен местные извозчики обязаны были носить красные рубашки, черные жилетки и шляпы с фазаньим пером. Этот джалал-абадский мэр, снедаемый чувством странного тщеславия, хотел не только догнать, но и перегнать все остальные города мира по извозному промыслу. Хотел одного, а добился другого — угодил из фаэтона в фельетон, кажется, Эль-Регистана, моего предшественника в «Правде Востока», и над ним от души посмеялись во всех республиках советской Средней Азии. Но про фельетон потом забыли, равно как и про незадачливого мэра, а красивые извозчики в городе остались.

Городские власти встретили спецкора «Правды Востока» как полагается: приветливо, но в гостиницу мы почему-то не попали. То ли не хватило приветливости, то ли в городе тогда гостиницы не было, то ли была, но все номера были заняты. Знакомая картинка и на сегодняшний, как говорится, день. Оказались мы, как мне запомнилось, в новом пустом здании школы. Старуха сторожиха отперла для нас дверь пятого «А» класса, показала на ряды парт и сказала:

— Располагайтесь! Вода в туалете текет пока.

И ушла. Мы с наслаждением разделись до трусов и пошли бродить по школьным коридорам. Я вышел босиком во двор и сейчас же с воем кинулся обратно, почувствовав боль от ожога ступней. В детстве я читал в книгах путешествий по жарким странам о том, как путешественники жарили яичницы прямо на песке, и не верил этим рассказам. Теперь я мог самолично убедиться в том, что авторы этих книг не врали и не преувеличивали.

III

Городские власти Джалал-Абада отнеслись сочувственно к моему желанию — увидеть собственными глазами выходы нефти на поверхность земли в горах в долине реки Кара-Су. Но как туда добраться?!

— Только верхом на лошади! — сказал кто-то из джалал-абадских администраторов.— Вы сможете поехать верхом?

Я посмотрел на Юру и прочел в глазах мальчика безмолвную мольбу: «Скажите «да», Леонид Сергеевич!»

Я сказал:

— Конечно, сможем!

Тогда администратор обратился к главному джалал-абадскому начальствующему лицу:

— Можно дать им лошадей из пожарного резерва. Прекрасные жеребцы: а стоят без дела. И для лошадок будет хорошая проминка, и товарищи останутся довольны.

— Проводника надо подобрать для них знающего, обязательно киргиза, местного жителя,— веско сказало главное начальствующее лицо.

— Милиция подберет.

— Почему милиция? — спросил я.— Разве в горах опасно?

— Вы имеете в виду басмачей? Нет, у нас тут все тихо... вроде бы. Так, на всякий — опять-таки пожарный случай. Береженого бог бережет, а поскольку бога нет, то — милиция!

Ровно в семь часов утра на следующий день, как мы договорились, у подъезда школы нас ожидали два оседланных коня и всадник в белой гимнастерке и милицейской фуражке, с кавалерийским карабином за плечами. Он был смугл, скуласт, усат и улыбчив. Сидел он на темно-сером, костистом, но, видимо, сильном и спокойном мерине местной киргизской породы. А предназначенные для меня и для Юры жеребцы — сытые красавцы — один покрупнее, рыжий, с почти белой васнецовской гривой, а другой — вороной — не стояли на месте, они приплясывали, нетерпеливо ржали и всем своим видом выражали горячее желание мчаться во весь опор куда глаза глядят!

Милиционер с трудом удерживал их за поводья, крутясь подле на своем уравновешенном коньке и беззлобно покрикивая на них.

Когда мы вышли из школы, он сказал мне с сильным акцентом, что его зовут Сулейман и чтобы я садился на рыжего жеребца, а «мальчик» пускай сядет на вороного,— тот поспокойнее. Мы так и сделали.

Как только я оказался в седле, сунул ноги в стремена и разобрал поводья, я понял, что шутки с Буцефалом (так мысленно я окрестил рыжего жеребца) — плохи. Этому сильному, застоявшемуся в пожарных конюшнях, хорошо откормленному животному нужен был другой всадник!

Приплясывая, клоня вбок голову, чтобы укусить меня за колено, Буцефал пошел шагом за милицейским мерином. Но как только мы выехали на улицу, ведущую к городской площади, где у чайханы скопились арбакеши со своими арбами, он, почувствовав запах их кобылиц, рванулся и помчался галопом, не разбирая дороги, прямо на них. Поднялся ужасный крик и гам, арбакеши ругали меня по-киргизски и по-русски — многоэтажно, Буцефал визжал и вставал на дыбы, пытаясь сбросить меня с седла, дабы я не мешал ему заниматься тем, чем он хотел тут же на площади заняться, я звал на помощь Сулеймана. Общими усилиями арбакешей и милиционера мое рыжее чудовище удалось обуздать, мы покинули площадь у чайханы и выехали всей троицей на дорогу из города. Ко мне подъехал Юра на своем вороном, чтобы выразить сочувствие, но тогда вороной и рыжий жеребцы затеяли между собой междоусобную драку, и опять был крик и гам, и опять Сулейман сумел разъединить враждующие силы и разбросать нас с Юрой в разные стороны.

Буцефал успокоился лишь тогда, когда мы очутились за городом, в степи. Здесь я дал ему поводья, и он пошел галопом так, что у меня в ушах засвистело. Пригнувшись к луке седла, я отдался наслаждению скачки. Сулейман и Юра отстали от меня, они тоже мчались галопом, но догнать Буцефала было не так-то просто. Километров шесть до узбекского кишлака, где у нас намечена была остановка для чаепития и завтрака, мы пролетели в одно мгновение. Я стал сдерживать коня, да он и сам, видимо, решил перевести дух и по-

шел широкой, очень удобной для всадника рысью, и я подумал, что мы с ним достигли, пожалуй, какого-то взаимопонимания. Но, увы, как только показались крыши кишлачных домов и зеленые купы шелковиц и фруктовых деревьев — он снова рванулся и пошел наметом. Мы выскочили на главную улицу кишлака. И опять впереди возникла площадь с чайханой, арбакешами и дымящимся на земле самоваром. Буцефал, не разбирая дороги, мчался туда на все это столпотворение. Я изо всех сил тянул за поводья из сыромятной кожи, стискивал его горячие бока своими ногами, кричал и ругал его, но он продолжал скакать сломя голову прямо на горячие самовары.

Люди стали разбегаться в разные стороны, как пехотинцы, внезапно атакованные вражеской конницей. Еще минута — и произошло бы несчастье, но какой-то храбрый арбакеша в белой рубахе и белых штанах, в вышитой тюбетейке, с алой розочкой за ухом, кинулся навстречу обезумевшему жеребцу и остановил его, повиснув на его поводьях. Когда я сошел, а вернее сказать, сполз с седла, меня никто не срамил и не ругал. Кожа на моих пальцах была содрана и висела ленточками — сыромятные ремни поводьев сделали свое дело.

Нас усадили на помосты в чайхане, укрытые коврами, напоили чаем с горячими лепешками, накормили дынями и виноградом. Явился местный фельдшер-узбек, обработал мои пальцы йодом и еще чем-то, перевязал, и мы, передохнув, решили ехать дальше. Великодушный Сулейман уступил мне своего надежного мерина, а сам сел на Буцефала, который сразу присмирел, — понял, что с этим всадником баловаться не стоит.

Ехали мы цепочкой: впереди я, потом Юра, а позади наш ангел-хранитель в милицейской фуражке, с карабином за плечами.

IV

Тропа шла все вверх и вверх, все круче и круче, кое-где мы пробирались по карнизу скалистых вершин, и тут я оценил в полную меру ум, смелость и сноровку киргизской горной лошади. Как красиво, осторожно и вместе с тем уверенно ставил милицейский мерин свои

железные ноги на узкую, как лезвие ножа, каменистую тропу, даже не косясь при этом на пропасть внизу, где во все свое пенное горло хохотала какая-то безымянная речонка. Пожарные жеребцы покорно шли следом за ним, — они явно признали мерина своим вожаком!

Только к вечеру, когда уже начинало темнеть, мы спустились в долину и оказались у цели своего путешествия.

Мрачное, но довольно широкое ущелье среди скал. Ворочая с ритмичным грохотом и скрежетом камни, несется стремительная, как все горные потоки,— река. Вода в ней почти черная, название у реки — Кара-Су («Черная Вода») — очень точное. А на песчаных плоскостях берегов проступают темные большие пятна.

— Вот!— сказал Сулейман. — Люди говорят: это нефть выходит!

— Тут даже пахнет нефтью! — восторженно выкрикнул Юра с седла.

Вся практическая бессмыслица нашей рекогносцировки стала для меня впечатляюще ясной. Приехали и увидели пятна. А дальше что? Про эти пятна по берегам Кара-Су в Ташкенте и без нас знают. Какую проблему промышленной разработки джалал-абадской нефти я, круглый невежда в этих вопросах, могу поставить в газете?! Но тут я вспомнил скептическую усмешку редактора «Правды Востока» и его отеческое напутствие («Вам просто нужно поездить, присмотреться к жизни!») и вернул себе душевное равновесие.

С важным видом я вытащил из кармана свой блокнот и спросил Сулеймана, где мы примерно находимся сейчас, ориентируясь на Джалал-Абад как на отправной пункт нашего путешествия. Сулейман ответил. Я записал его весьма сомнительные данные в блокнот, и мы тронулись в обратный путь.

В горах темнеет почти мгновенно. Не успели мы взобраться по тропе на первую вершину, как уже стало совсем темно. Утомленные кони ступали тяжело, даже мерин-вожак стал оступаться. Теперь первым в цепочке ехал Сулейман на моем Буцефале. Мы выехали на какую-то горную полянку, заросшую высокой травой и дивными цветами. Сулейман подъехал ко мне и сказал:

— Лошади устали. Здесь недалеко аил, там у меня

родич — председатель кооператива, будем у него ночевать. Я поеду, найду дорогу, а вы меня здесь ждите, никуда не ходите.

Сказал и растаял в темноте. И мы с Юрой остались вдвоем ночью в горах Киргизии. Над головой — звезды, крупные, равнодушно-чужие, впереди и позади — мрак и могильно глубокая тишина, нарушаемая лишь фырканьем и хрупаньем наших коней, жующих сочную влажную траву. Холодно, тоскливо и жутко.

— Юра, как вы? — спросил я своего спутника.— Не страшно вам?

Мальчик ответил на мой вопрос своим жалобным:

— Как вы думаете, Леонид Сергеевич, Сулейман вернется?

— Конечно, вернется! — успокоил я его, а сам подумал: «Посмотрим. Мало ли что бывает ночью в горах, тем более что Сулейман поехал не на своей лошади!»

Прошло, наверное, минут сорок, когда мы услышали крик в ночи и узнали голос Сулеймана. Он кричал нам издали:

— Я еду к вам, не бойтесь!

Он выехал к нам из мрака ночи, наш милый Сулейман, такой же приветливый и веселый, как в начале путешествия.

— Мало-мало забыл дорогу, теперь вспомнил, — бодро сказал он, виновато улыбаясь при этом. — Тут недалеко будет спуск, худой спуск, но лошади пройдут, ничего. Я первый поеду, потом мальчик, а потом — вы, только коню не мешайте, он сам найдет куда надо, как надо.

Да, спуск был худой. Но лошади прошли. Я не мешал мерину. Даже тогда, когда он оступился и из-под его копыт куда-то в чертову тьму долго летели мелкие камни — я заставил себя не вскрикнуть и не дернул за поводья.

Мы въехали цепочкой в спящее селение, с трудом нашли дом родича Сулеймана. Милиционер слез с коня и стал стучать в ворота надворья. Залаяли собаки, забегали люди, в окнах зажегся свет.

Не прошло и часа, как мы уже сидели на кошмах, на подушках, на ватных одеялах в верхней веранде дома и ужинали при свете керосиновых ламп. Хозяин

дома, председатель аильского кооператива, так же, как и Сулейман, член партии, даже похожий на него — такой же веселый и приветливый усач, угощал нас овечьим сыром, вареной бараниной, зеленым чаем с баранками — всем, что нашлось в доме в ночную пору.

Впервые я узнал, что такое среднеазиатское вообще и киргизское в частности гостеприимство!

Хотя от усталости все плыло передо мной и куда-то уплывало, но экзотика сама настойчиво лезла в глаза. Хозяин брал руками из миски бараньи кости с мякотью и вручал их сначала нам, гостям, потом членам своей многочисленной семьи. Вот он сам взял себе мясную косточку, оторвал зубами немного мяса, пожевал и передал кость сидевшей рядом с ним женщине. Потом взял еще косточку, похуже, пожевал мясцо и передал ее другой женщине — помоложе первой. Третья косточка досталась третьей молодухе с ребеночком на руках. Он сидел на коленях у матери и таращил на керосиновую лампу хорошенькие черные, чуть раскосые глазенки. Все три женщины были жены председателя аильского кооператива.

Ужин завершился холодным, кисловатым, бьющим пупырышками в нос отличным кумысом — этим напитком богатырей. Мы пили его из одной, ходившей по кругу пиалы. В те времена отказаться пить из общей чаши значило нанести большую обиду хозяевам.

Спали мы как убитые тут же на веранде, на этих же подушках и одеялах, и утром, чуть свет, тронулись в обратный путь. Ноги у меня почти не сгибались в коленях. Буцефал с запавшими боками, с подобревшими, осмысленными глазами был совсем не похож на то рыжее чудовище, которое плясало и безобразничало на площади в Джалал-Абаде. Я потрепал его по шее, расправил светлую челку, погладил по теплому нежному храпу, и он охотно принял мою ласку. Решено было возвращаться домой каждому на своем коне. С трудом, с помощью Сулеймана, я взобрался на Буцефала, устроился в седле по-дамски, боком, и мы покинули гостеприимный дом аильского кооператора.

Джалал-абадский администратор — тот, который снаряжал нас в наше путешествие,— выслушал мой рассказ о поездке в горы с улыбкой, которую даже не пытался скрывать, и сказал сочувственно:

— Вам нужно отдохнуть. Поезжайте дня на два на наш курорт. Тут недалеко от Джалал-Абада открыт целебный источник, больные-ревматики пока живут в палатках, но питание и медицина уже налажены. А со временем тут все будет, что нужно. Я позвоню главному врачу, и вас примут.

Я поблагодарил и согласился. Шикарный извозчик в красной рубашке и черной жилетке одним духом домчал нас до невысокого зеленого холма в степи. Здесь среди огромных, в три обхвата, карагачей белели длинные брезентовые палатки. В палатках, как в полевом госпитале, стояли в два ряда хорошие пружинные кровати с белоснежным бельем.

Хозяин этого оригинального санатория, бывший полковой врач кавалерийского полка, громившего в здешнем округе басмачей,— совсем молодой еще человек в выцветшей гимнастерке с орденом Боевого Красного Знамени на груди — показал нам кровати у входа в палатку, пощупал мои колени и сказал весело:

— Перенапряжение связок. Чепуха! Присохнет как на собаке. Лежите весь день, выходите только в столовую и по нужде. Водичку нашу попейте — хорошая водичка, через два дня сможете танцевать фокстрот, а через три — вприсядку!..

Мы так и сделали: валялись на кроватях, отсыпались и слушали щебет птиц, которых тут было так много, что огромные карагачи казались сказочными живыми поющими и щебечущими деревьями.

Больных в эту пору было мало — шахтеры, металлурги, служащие учреждений. Киргизы, узбеки, русские. Все они в один голос пели дифирамбы местной воде и энергии главного врача — бывшего кавалериста.

Вечером мы пошли с Юрой посмотреть на источник. Он был виден издали, потому что там, где вода выливалась наружу из земных недр (ее мог свободно пить любой желающий), высился тонкий шест с зеленой линялой тряпкой на нем — знак святого места.

Возле железной трубы, из которой тонкой струйкой вытекала минеральная целебная вода, сидел на земле на корточках ишан в белой чалме, худой, с козлиной бородой, и раздавал желающим воду, разлитую по пузырькам и бутылкам. За это желающие пить воду, которую благословил сам аллах в лице его козлобородого

полпреда, а не доктор-нечестивец — бросали в пиалу, стоящую тут же, на земле, серебряные и медные монеты. Когда мы подошли к источнику — ишан поднял голову, и я увидел в его изъеденных трахомой глазах с красными веками бездонную, вековую азиатскую тьму. И ненависть!

Веселый доктор сказал мне по этому поводу так:

— Здесь на каждом шагу можете такие парадоксы увидеть. Поезжайте в Ош — там за городом есть скала, помогающая женщинам от бесплодия. Нужно съехать на животе по этой скале вниз, и курс лечения пройден. Они эту скалу своими животами отполировали под мрамор. И тоже там внизу сидят ишаны и собирают свою жатву. Много еще нам здесь предстоит работы, ох много!..

Вот тогда-то, в этом палаточном санатории под Джалал-Абадом, я и понял, что такое наша азиатская экзотика: она в борении нового и старого, в победной диалектике жизни, которую мы, как трудную, необузданную реку, пустили по новому руслу.

...Я попал снова в Среднюю Азию, правда в Узбекистан, а не в Киргизию, спустя тридцать пять лет. Это была писательская коллективная поездка. Мы побывали в городах, на предприятиях, оснащенных самой передовой техникой, и в богатейших хлопководческих колхозах. Я увидел совсем другую страну и совсем других людей. Прогресс ее особенно отчетливо и ярко сказался на судьбе среднеазиатской женщины. Мы встречались с женщинами-учеными и женщинами — государственными деятелями, мы видели женщин-журналисток и женщин-писателей, агрономов, водителей хлопкоуборочных комбайнов, председателей колхозов.

Они были полны достоинства и внушали уважение к себе, не потеряв ничего при этом в своей восточной женственной прелести.

Заехали мы тогда в один богатейший узбекский колхоз, и председатель его, шумный толстяк, показал нам свой парк культуры и отдыха, которым он особенно гордился. Гордиться было чем! Беседки в этом парке были обвиты виноградными лозами, и пышные янтарные грозди сами просились в рот. На гранатовых деревьях висели багровые тяжелые ядра созревающих плодов. Запах роз дурманил голову. По аллейкам этого земного

рая разгуливали осанистые павлины с радужными веерами хвостов и бродил тонконогий олененок, брат диснеевского Бэмби, которого подобрали в горах, выходили и приручили. Тут же бегал лохматый добрый пес, дворняжка, похожий как две капли воды на своих собратьев в русских деревнях, таких зовут Полканами и Шариками. Бегал и хрипло лаял весь день — нес дозорную охранную службу.

Два поэта потом написали стихи об этом райском уголке. В изящном стихотворении первого было все: и павлин, и гранаты, и олененок — брат Бэмби,— вся экзотика. Второй поэт, не забыв ни павлинов, ни гранатовых деревьев, ни олененка — брата Бэмби, посвятил свое стихотворение лохматому Полкану и воздал ему должное за его безупречную службу по охране этого рая.

Это было два понимания экзотики.

Вторым поэтом был Ярослав Смеляков.

Церемониальный марш

I

Немцы нащупали слабое место нашей обороны, ударили в стык двух армий и прорвались — силами одного танкового батальона. Но к вечеру в прорыв вошел их танковый полк, к утру — дивизия, а за ней эсэсовский танковый корпус. Это уже была катастрофа. Многие наши части оказались отрезанными, им предстоял кровопролитный выход из окружения, в которое они попадали.

Штаб фронта со всеми его учреждениями первого и второго эшелонов на рассвете прохладного ясного октябрьского дня покинул лес, в котором располагался, как нам казалось тогда, очень прочно, и мы на машинах стали поспешно уходить на восток по единственной дороге, еще не перехваченной неприятелем.

Я ехал в редакционной «эмке» вместе с писателем В.— милым чудаком и философом. В нежном возрасте В. перенес детский паралич, при ходьбе слегка волочил ногу, курил длинную капитанскую трубку,

острил тонко и несколько книжно, а представляясь фронтовому начальству, именовал себя спецкором журнала «Мурзилка» на энском фронте.

На войну он пошел добровольно, но ему пришлось сильно похлопотать и понервничать, прежде чем он убедил военкоматских медиков в том, что способен по состоянию своего здоровья занять штатную должность писателя фронтовой газеты.

К середине дня, когда цепочка наших машин была уже далеко от родимого леса, синее, удивительной глубины и нежности небо стало заволакиваться тучами. К вечеру, когда мы добрались до большого лесного поселка, где должны были заночевать, пошел хлесткий, злой дождь.

Мы с В. вышли из машины и, увязая по щиколотку в густой грязи, перебрались на деревянный тротуар. Здесь подле витрины поселкового фотографа нас ожидал редакционный квартирьер.

Мы полюбовались толстенькими младенцами с голыми ножками, с сосками в пухлых ротиках, с бессмысленными до святости глазенками, задумчивыми красавицами с тургеневскими косами в руку толщиной и местными сердцеедами с такими напряженными лицами, какие бывают лишь у тяжелоатлетов в тот миг, когда, рванув на грудь рекордную штангу, они стоят на помосте славы, еще не веря себе, что вес взят.

Я подумал, что многих из этих парней, наверное, уже нет в живых, потому что по своему возрасту они должны были находиться в армии и, конечно, могли погибнуть в пламени первых боев под Брестом или подо Львовом, что их задумчивые красавицы с тургеневскими косами стали теперь солдатскими и офицерскими вдовами, а пухленькие младенцы — сиротами, и от этой мысли мне стало не по себе.

Квартирьер повел нас под дождем к месту нашего ночлега. Но только мы вошли на широкий грязный двор, посреди которого неприкаянно и мокро чернел предназначенный для нас домишко, как где-то рядом выстрелили. Это был пистолетный выстрел. Квартирьер наш, однако, насторожился, и мы, глядя на него, тоже насторожились.

— Стойте здесь и никуда не уходите, я сейчас вернусь,— сказал нам квартирьер и исчез.

Через несколько минут он вернулся.

— Вас зовет редактор. Идемте.

Редактор, в потемневшей от дождя шинели, перетянутой широким ремнем, в общевойсковой офицерской фуражке с красным околышем, стоял посреди двора, заставленного нашими редакционными машинами. В руке редактор держал маленький изящный трофейный пистолет. Рядом, виновато опустив голову, смущенно топтался на месте Вася Половинкин, редакционный радиотехник, переведенный к нам в газету из бомбардировочной авиации. Бомбардировщик, на котором Вася служил стрелком-радистом, был в начале войны атакован в воздухе «мессерами» и подбит, но командиру корабля, опытному, смелому летчику, все же удалось привести раненую машину на родной аэродром. Однако при посадке произошла авария, командир и штурман погибли, а Вася, как он сам говорил, получил «легкую контузию с тяжелыми последствиями». Что-то стряслось после этого с Васиными нервами, и он стал панически бояться самолетов. Стоило только появиться над нашим лесом немецкой «раме» или «юнкерсам», как Вася бледнел и весь как-то съеживался. По команде «Воздух!» он первым мчался в щель или укрытие с поспешностью, смешной и даже несколько неприличной для бывшего авиатора.

Наши языкатые наборщики прозвали его «стрелок-щелист».

Я подошел к редактору и откозырял ему с подчеркнутой лихостью:

— По вашему приказанию прибыл!

Редактор улыбнулся одними глазами — женственными, мягкими, темно-коричневого цвета — и тоже приложил руку к козырьку фуражки, отдавая мне ответное воинское приветствие.

Он считал себя «военной косточкой», ему нравились собранность, четкость, строевой лаконизм. Отношения у нас были добрые, товарищеские, но, как я это успел заметить, он охотно принял «правила игры», предложенные мною.

Редактор протянул ко мне руку, на ладони которой лежал изящный пистолетик, и просто сказал:

— Вот возьмите себе. Вы жаловались, что у вас нет оружия, теперь вы будете вооружены.

Мне действительно при выдаче офицерского обмундирования личного оружия почему-то не дали, в пустую кобуру я — для вида — напихал газетной бумаги и мечтал о трофейном пистолете.

Я взял у редактора пистолетик. Ручка пистолетика была теплой, уютной.

— Вы не смотрите, что он такой маленький, как игрушечный,— сказал редактор,— у него хороший прицельный бой. Товарищ Половинкин может это подтвердить!.. Он только что прострелил из этого пистолета доску в заборе.

Вася Половинкин еще ниже опустил грешную голову.

— Вы знаете, какие надписи делали в старину граверы на казачьих клинках? — спросил меня редактор.

— Без нужды не обнажай, без славы не вкладывай или что-то вроде этого!

— Правильно! — сказал редактор и повернулся к радисту: — Идите, Половинкин, к своей машине... Обождите, дайте-ка вашу кобуру, она вам все равно теперь не нужна.

Бедный «стрелок-щелист» отстегнул и отдал мне свою кобуру — тоже маленькую и изящную.

— А в своей старой кобуре можете носить хотя бы флакон одеколона,— сказал мне редактор и засмеялся первым. Но тут же стал серьезным, даже суровым.

Когда Половинкин ушел, он сказал тихо:

— Ночлег отменяется. Через пятнадцать минут мы двинемся дальше. Огорчены?

— Не очень! Вот только этот дождь... по-моему, он превращается в мокрый снег.

— Тем лучше!

— Почему?

— Потому что ближайшие полевые немецкие аэродромы раскиснут так, что их самолеты не смогут взлететь. Они нас не опередят.— Он оглянулся по сторонам, заговорил еще тише: — Немцы идут параллельно с нами по таким же лесным дорогам, все решает скорость передвижения. Или мы успеем выскочить из мешка, или они затянут его своей танковой веревкой... Но вам-то что? — Кофейного цвета глаза снова заулыбались.— Вы же теперь вооружены до зубов! Человек о двух кобурах! — улыбка в глазах погасла.— Ступайте к машине и... забудьте то, что я вам сейчас сказал.

II

Три дня и три ночи, без привалов, без отдыха, останавливаясь лишь для заправки бензином из взятых с собой канистр, мы пробирались по ужасающим лесным и полевым дорогам. И все эти три дня и три ночи тяжелые тучи ранней русской осени низко висели над нашим исходом и спасительный дождь пополам со снегом прикрывал нас студеной своей завесой от одиноких немецких воздушных разведчиков, буравивших винтами серую сплошную облачную кашу над нами.

Мы почти ничего не ели, спали урывками, уронив голову на плечо друг другу, и очень страдали от холода в своей летней хлопчатке. Водители машин были измучены еще больше, чем мы, они засыпали на ходу за рулем, на их красные воспаленные глаза было больно смотреть. Но генерал, командовавший штабной колонной, был неумолим в своих требованиях непрерывного и быстрого марша на северо-восток, строго на северо-восток, и мы катились на этот северо-восток день и ночь, день и ночь, день и ночь, и темно-розовые зарева на ночном небе, пылающие то справа, то слева от нас (это горели лесные городки и деревни, уже захваченные врагом), подхлестывали наше движение.

Иногда на нашем пути попадались деревни. Печальные, затаившиеся, как бы припавшие животами к мокрой земле черные избы. Бабы со скорбными глазами российских богородиц глядели нам вслед, и мы читали в их взглядах жалость и укоризну.

В одной большой деревне, где была объявлена заправка бензином, председатель местного сельпо отдал нам под расписку всю яичную заготовку. Нам с В. досталось по пяти штук яиц на брата, и мы тут же выпили их сырыми, без соли, со зверским наслаждением.

В другой деревне, где наша колонна задержалась на полчаса из-за порчи одной из головных машин, отделившись от молчаливой угрюмой топлы женщин и стариков, стоявших подле большой избы с вывеской «Правление», к нашей «эмке» подошел, прихрамывая, сумрачный пожилой мужик в синей рубахе распояской, с каким-то нелепым прутиком в руке.

— Товарищи командиры,— сказал он, поигрывая прутиком, глядя на нас с досадой и болью,— дозвольте

у вас спросить... вот граждане интересуются... можно еще надеяться... или пора... приступать?

— К чему... приступать? — спросил В., вынув изо рта и крепко зажав в руке свою капитанскую трубку.

— К дележу, значит, колхозных запасов... общественного, вот именно, добра,— натужно и глухо сказал колхозник с прутиком.— А то заявится «он»,— все отберет, пожгет, потопчет... чем будем, вот именно, детишек кормить?!

Что мы, писатели, фронтовые газетчики, могли ответить ему?!

Мы молчали. И он молчал. И это молчание было невыносимо, как та душевная мука, которая выплескивалась на нас из страдальческих, запавших мужицких его глаз.

— Потерпите еще немножко, папаша,— сказал я, понимая, что говорю не то и не так. Тут раздалась команда, «эмка» наша тронулась, и горький наш вопрошатель остался на дороге один со своей мукой и своим прутиком.

...На каком-то железнодорожном переезде нам выдавали спирт прямо из цистерны, стоявшей на запасном пути. Спиртового шланга при цистерне не оказалось, и мы наливали жгучую, остро пахнувшую влагу в свои фляжки через бензиновый шланг. Водители наши уверяли, что «спиртяга добрый» и что он «все отобьет!».

Мы с В. сделали по глотку, чтобы согреться, запили спирт водой и убедились, что «добрый спиртяга» — это самый обыкновенный сырец, к тому же нестерпимо воняющий бензином. На В. напала отчаянная икота, чтобы приглушить ее, он разжег свою капитанскую трубку и так надымил в кабине, что нечем стало дышать. «Капитанка» его скоро потухла, и он задремал с нею во рту.

Мы продолжали мчаться в ночь, в мокрый снег, в неизвестность, к черту в лапы. Мирно посапывающий В. со своей вонючей трубкой в зубах раздражал меня. Я растолкал его и, не скрывая раздражения, сказал, чтобы он не разжигал больше трубку, потому что попадет случайная искра, и мы взорвемся от его отрыжки.

В. обиделся, но ответил кротко:

— Вы уже теряете душевное равновесие. Это плохо!..

III

Поздним вечером, на третий день марша, мы втянулись на улицы города Б. Тульской области. Размеры постигшей нас беды здесь стали очевидны еще больше, потому что сюда же, в Б., стягивались тылы и отдельные части соседнего с нами и тоже смятого немцами фронта.

Следуя за машиной редактора, мы подкатили к двухэтажному зданию. Пожилой человек в очках, в барашковой ушанке, в пальто с барашковым воротником, с автоматом на ремне через плечо стоял на крыльце. Он оказался редактором местной газеты. Мы познакомились, он очень обрадовался фронтовым писателям-газетчикам и повел нас наверх, в свою редакцию. Комнаты были прибраны, полы вымыты, в кабинете редактора в книжном шкафу в безукоризненном порядке стояли книги.

— Располагайтесь, вам тут будет удобно! — сказал городской редактор нашему редактору.

Он подошел к книжному шкафу, снял с полки, подержал в руке и бережно поставил на место книгу.

— Ильича вам своего оставляю... Полное собрание сочинений... Еще энциклопедический словарь... не какой-нибудь, а старый, Брокгауза и Ефрона — знаете? Дельный, между прочим, словарь.

— А вы сами сейчас где? — спросил его В.

— В лесу! — сказал городской редактор.— Собственно, это секрет, но поскольку вы фронтовики... Газета наша уже не выходит, семьи мы эвакуировали, партийный актив перешел на партизанское положение... У меня личная землянка выкопана в лесу, довольно удобная. Я в город приехал по делу и скоро уезжаю к себе в лес обратно.

Мы с В. переглянулись. Нас обоих устраивала возможность остаться поработать здесь, в этих прибранных, натопленных комнатах с вымытыми полами, со столами, застланными чистой бумагой, с Лениным и старым энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона в редакторском книжном шкафу, с аккуратным затемнением на окнах.

— Я сейчас иду к начальству,— сказал наш редактор, обращаясь к местному редактору,— выяснять наши дальнейшие планы. Вы не могли бы пойти со мной?

— Пожалуйста! — сказал местный редактор.

— Приказываю: оставаться здесь и ждать моего возвращения! — обращаясь ко мне и к В., сказал наш редактор.

— Есть оставаться и ждать вас, товарищ полковой комиссар! — молодецки рявкнул я и козырнул обоим редакторам. Городской редактор улыбнулся, а наш посмотрел на меня иронически, и я понял, что переиграл в своем строевом рвении.

Редакторы ушли. В. взял из книжного шкафа том словаря Брокгауза и Ефрона, сел и углубился в чтение. Очки у него сползли на конец носа, углы большого рта опустились, и он был похож сейчас на старую утомленную женщину. Мне стало жалко его. Я спросил:

— Что вы читаете?

Он поднял голову:

— Вы знаете, что такое мальпигиевы сосуды?

— Нет.

— Надо знать! — наставительно сказал В. и, поправив сползавшие с носа очки, прочитал вслух: — «Мальпигиевы сосуды — трубчатые выделительные органы у большинства паукообразных многоножек и насекомых, открывающиеся в кишечник».

— Черт с ними, с многоножками и их кишечниками! — сказал я.— Как вы думаете, мы здесь задержимся?

— Вряд ли.

— Почему вы так думаете?

— По-моему, мы еще не выскочили из мешка.

— Откуда вы знаете, что мы в мешке? Вы что, начальник штаба фронта?

— Я не начальник штаба фронта,— сказал В. с некоторой обидой в голосе,— но я не такой шпак, как вам кажется. Мы в мешке, и вы тоже это отлично знаете.

Я не успел ответить ему, потому что на улице под нашими окнами грянул винтовочный выстрел, за ним второй, третий... Отдельные выстрелы сразу же слились в беспорядочную ожесточенную стрельбу.

— Немцы! — сказал В.— Они ворвались в город. Парашютисты!..

— Или танковый десант! — сказал я.

— Но моторов же не слышно!

— Они пустили вперед автоматчиков для паники.

— Возможно.

— Что нам делать?

— Не знаю! — пожал плечами В. и снова уткнул бледный нос в том словаря Брокгауза и Ефрона на букву «М».

— Перестаньте читать! — крикнул я.— Они могут ворваться сюда каждую минуту!

— Ну и что? У вас хоть есть пистолет Васи Половинкина, а у меня даже пустой кобуры нет. Один планшет!

— Вас убьют!

— Конечно! Первый же фриц! Он сразу увидит, что я (он печально улыбнулся)... «дер юде» и что на меня, как писал Бабель, надо «стратить патрон». Плен мне не грозит.

Стрельба усиливалась.

Я расстегнул кобуру и вытащил свой изящный пистолетик — подарок редактора. У меня созрел в голове такой план: я спущусь вниз по лестнице и, выглянув из парадной двери, попробую разобраться в том, что происходит на ночной улице. Я решил нарушить приказ редактора и вместе с В. пробираться к нашей колонне.

В. вдруг поднял голову от книги и сказал:

— А что такое «мертвая голова», вы знаете?

— Эмблема эсэсовцев!

— Ничего подобного!

Он прочитал вслух:

— «Мертвая голова (Саймори) род широконосых обезьян, подсемейство капуциновых. Длина тела до сорока см, хвоста тоже до сорока см; распространены в Южной Америке. Обитают в тропических лесах».

Стрельба внезапно стихла.

Послышались тяжелые шаги на лестнице. На лбу В. выступил крупный пот. Я поднял руку с пистолетом. Почему-то я подумал, что немец, который распахнет сейчас дверь, будет рыжим, в каске, сдвинутой на затылок.

Дверь распахнулась, и в комнату вошел наш редактор. Он был бледен, возбужден и бодр.

— Как чувствует себя художественная литература? — спросил нас редактор, улыбаясь.

— Хорошо! — сказал В. и вытер носовым платком пот со лба.

— Сдрейфили?

— Не очень.

— От ветра что-то произошло с проводами,— сказал редактор.— Они стали искрить. Какой-то нервный боец из истребительного батальона решил, что это немцы-ракетчики проникли в город, выстрелил и поднял всю эту кутерьму... Наши офицеры насилу ее уняли!

Он подошел ко мне, взял у меня пистолет, посмотрел и, возвращая, сказал:

— В следующий раз, когда соберетесь стрелять, не забудьте спустить спусковой крючок с предохранителя!

— Мы остаемся здесь? — смутившись, спросил я, пряча злополучный пистолет в злополучную кобуру Васи Половинкина.

— Нет! Идемте к машинам. Марш продолжается.

В. посмотрел на меня торжествующе.

...И вот мы снова катимся в ночь, в неизвестность, к черту в лапы.

Горькие и печальные мысли одолевают меня. А за окном машины играет и пляшет самая настоящая метель. «Бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре закружились бесы разны, будто листья в октябре»,— мысленно повторяю я пушкинские строки, заменив «ноябрь» «октябрем», и незаметно для себя самого погружаюсь в мучительный бредовый сон.

...Кто-то снаружи сильно рванул на себя дверцу. В остановившуюся посреди дороги машину хлынул знобящий влажный холодок. Я открыл глаза. Офицер-регулировщик в фуражке, надвинутой на лоб, в мокрой плащ-палатке сорванным голосом прохрипел в лицо нашему водителю:

— Впереди опасный спуск, держи тормоза. Но смотри — сразу вниз! Не трусь, не задерживай задних. Свет включи, потом потушишь.— И, захлопнув дверцу, выкатил шалые, яростные глаза.— Давай!

Машина медленно тронулась. В зыбком свете зажженных фар мы с В. увидели крутой, глинистый, обрывистый спуск. Справа на дне обрыва валялись колесами вверх и на боку грузовики и две смятые «эмки». Те, у которых подвели тормоза.

Закусив губу, наш водитель выключил мотор, и мы начали спуск по желтому, припорошенному снегом, мокрому глинистому мылу,— оно тянуло нашу «эмочку»

все вправо и вправо, на край обрыва. Но нас тормоза не подвели!

...Снова играет и пляшет метель за окном «эмки», снова катятся машины... Куда? Неужели в Тулу?! Чужой земли мы не хотим, но и своей не отдадим... А фашист на четвертом месяце войны уже лезет на Тулу!..

Через Тулу я ехал в такой же «эмке» на фронт из Москвы в начале августа, встретился в Туле со своим родным дядькой, заслуженным инженером-оружейником, которого не видел двадцать четыре года... Я помнил его веселым питерским студентом-технологом в короткой курточке с поперечными погончиками, а пришел на свидание со мной растерянный старый старичок...

Тула, Тула перевернула, Тула козырем пошла!.. Нет, неужели в самом деле в Тулу?!

Я забылся. Опять кто-то сильно рванул на себя дверцу машины. Открыв глаза, я увидел редактора с зажженным электрическим фонариком в руке.

«Эмка» стояла на обочине дороги.

— Слезай — приехали! — сказал редактор.

— В Тулу? — спросил я.

— Какая там Тула?! Мы здесь ночуем.

— В поле?

— В деревне.

— А как она называется? — сонным голосом спросил В.

— Она называется Болото! — сказал редактор.— Я не острю, деревня действительно так называется. Выходите и залезайте в первую же попавшуюся избу. Здесь все забито штабами и войсками, но вы не стесняйтесь, не будьте мямлями. Как-нибудь притулитесь. В семь утра выходите на улицу, ждите меня.

Он махнул нам своим фонариком и пошел вдоль колонны остановившихся машин.

Наш водитель не захотел покинуть «эмку», и мы с В. отправились вдвоем искать ночлега.

Черна тихая изба. Мы поднялись на крыльцо. Входная дверь была не заперта. Мы оказались в тихих, черных, холодных сенях. В глубине этой черноты холодно поблескивали изумруды кошачьих глаз. Невидимая кошка слабо и жалобно мяукнула, словно сказала: «Это я, ради бога, не трогайте меня!»

Я нащупал ручку второй двери, потянул к себе —

дверь открылась. На нас пахнуло теплой жилой вонью. На деревянном грубом столе слабо мерцала коптилка, освещая черно-багровым светом людей в шинелях, лежащих вповалку на лавках и прямо на полу, разутых и в сапогах.

— Кого там дьявол еще принес? — спросил кто-то в углу хриплым со сна басом.

— Военного корреспондента «Мурзилки»! — сказал В.

— Только тебя тут не хватало! — отозвался бас.— Устраивайся, Мурзилкин, если найдешь место, но потише.

Мы нашли свободное местечко на полу у стены и легли спиной друг к другу, свернувшись калачиком. Я чувствовал, что В., так же как и я, подавлен тем, что произошло, что он изнемог физически и нравственно еще больше, чем я, и нуждается в словах ободрения, но боже мой, как мне-то самому хотелось услышать от кого-нибудь те же ободряющие слова!

Я спросил В. шепотом:

— Вы спите?

Он не ответил. Я поднял воротник шинели, закрыл глаза и словно провалился в черный, тихий, вонючий колодец.

Проснулся я от какого-то топота и громкого смеха. В. толкал меня в бок.

— Просыпайтесь скорей, тут идет целое представление.

Я поднялся и сел, прислонившись к стене. Коптилка уже не горела, затемнение было снято, в окна сочился рассвет. По остывшей избе из угла в угол по диагонали, энергично размахивая руками, твердо и гулко ставя на пол прямую, не согнутую в коленном суставе ногу в громадном сапоге, вышагивал русский гигант в гимнастерке с двумя маленькими кубиками в петлицах. Он был ладно скроен, и ладно сшит, и картинно красив той уже исчезающей исконно русской былинной красотой, которую теперь можно встретить разве лишь в глубине костромских лесов или в деревнях архангельского поморья.

Я подумал, что он похож на васнецовского Добрыню Никитича, побывавшего в парикмахерской, где ему сняли бороду и причесали на современный манер.

Глядя на вышагивающего богатыря влюбленными глазами, В. тихо сказал мне:

— Вы знаете, что он им показывает? Наш будущий парад в Берлине!

Безбородый Добрыня в гимнастерке с двумя кубиками дошагал до противоположной от нас стены и, твердо приставив ногу, замер по стойке «смирно».

— Учитесь. Вот это и есть настоящий церемониальный марш! — сказал Добрыня.

— Под Тулой! — ядовито бросил кто-то из угла.

В избе дружно захохотали.

— Дурак ты, братец! — беззлобно отозвался Добрыня.— Настоящая война — она ведь только начинается.

Мы с В. поднялись и вышли на улицу. Легкий морозец сковал грязь, дул ледяной слабый ветер, кое-где на небе виднелись бледно-голубые промоины, погодка была славная.

По дороге на Тулу сплошным потоком по-прежнему двигались грузовые и легковые машины, конные повозки, шли люди в шинелях, многие были без винтовок.

Проехала повозка — ее старательно тянула заиндевевшая мохнатая лошаденка. Правила ею пожилая, румяная, сильно, видимо, озябшая женщина в шинели с петлицами военного врача. Она сидела на замерзшей свиной туше, на белых толстых ресницах свиньи, не тая, лежал снег. Вожжи, которые женщина — военный врач — неумело держала в руках, были сделаны из бинтов.

Мы не заметили, как к нам подошел редактор.

— Как себя чувствует художественная литература?

Я посмотрел на его осунувшееся, потемневшее, улыбающееся лицо и спросил:

— Вы хоть час поспали?

— Прикорнул в машине!

— Какие новости?

— Неплохие! За ночь удалось создать заслон из разрозненных отступающих частей обоих фронтов, командует наш генерал. Думаю, что немцев задержат.

— А где командующий фронтом?

— С окруженной армией. В бою. Из леса он поехал не на восток, а на запад — выводить войска из окружения.

— Мы двигаемся дальше?

— Нет! Пока остаемся здесь, в многоуважаемом Болоте. Нам отвели здание школы. Надо выпустить но-

мер. Тема: «Русский народ непобедим». Возьмем ее в историческом разрезе. Идемте, работы невпроворот! Школа тут недалеко, здание удобное, я там уже был!..

Мы пошли с редактором. На высоком крыльце избы, в которой мы ночевали, кто-то стоял. Поравнявшись с избой, я узнал в стоявшем нашего Добрыню. Сейчас он совсем не был похож на сказочного, побрившегося богатыря. На крыльце, с автоматом, висевшим на ремне у него на груди, стоял человек среднего роста, с простым, умным, усталым лицом труженика войны.

Веселый попутчик

Война шла к концу.

Фронтовую газету, в которой я служил, занимая штатную должность писателя, перебрасывали по железной дороге с одного фронта на другой, и это было отличное путешествие.

В самом лучезарном настроении мы с майором Тесленко вышли ночью из нашего классного вагона на пути большой узловой станции, разбитой «юнкерсами» еще в начале войны. Между рельсами мутно белел снег, но ветер, насыщенный влагой, шумел уже по-весеннему.

Майор Тесленко, наш секретарь редакции, будучи по натуре человеком глубоко штатским, хотел казаться настоящей «военной косточкой». С этой целью низенький, худой и сутулый Тесленко затягивал пояс на шинели до того, что дышал с трудом, а вместо нормального пистолета в кожаной кобуре носил трофейный парабеллум в огромном деревянном футляре, который больно бил его по бедру при ходьбе.

Кроме того, Тесленко на все вопросы отвечал в категорической и определенной форме. Ведь «военная косточка», занимающая столь высокое положение в редакции, должна все знать! К черту всякие штатские неясности, неопределенные междометия и увиливания!

Слушая, как маленький Тесленко обсуждает военные проблемы, можно было подумать, что он, Тесленко, по своей осведомленности первый человек в армии! При этом он был отличным газетчиком и добрым товарищем.

Вот он меня тогда и подвел — майор Тесленко, милая «военная косточка».

Бес дернул меня за язык, и я спросил его:

— Ты не знаешь, сколько мы будем здесь стоять?

— Сорок минут! — не моргнув глазом ответил осведомленный Тесленко.

— Значит, я успею сходить на вокзал и посмотреть, что там и как?

— Ты не только успеешь посмотреть, что там и как, ты даже успеешь взять для нас пива. Здесь продают великолепное пиво!

— Откуда ты знаешь, что здесь продают великолепное пиво?

— Здесь продают великолепное пиво! — железным голосом повторил Тесленко.— Обожди, я вынесу тебе бидон.

Он сходил в вагон и торжественно вручил мне жестяной сосуд емкостью в пять литров — гордость редакционного завхоза.

Пива на вокзале, конечно, не оказалось, но зато в киоске продавали относительно свежие московские газеты и журналы. Я купил их целую охапку и, легкомысленно помахивая своим бидоном, не спеша покинул полуразрушенное, затемненное, гудящее, как гигантский орган, здание вокзала.

Эшелон наш стоял на пятом пути. Обратную дорогу я проделал быстрее и без особых происшествий, если не считать гибель бидона. Нырнув под товарный вагон, я услышал над головой лязг буферов — состав вдруг тронулся. Я успел выскочить из-под вагона, но уронил бидон, и он упал между рельсами. Я решил обождать, пока пройдет поезд, чтобы поднять «гордость редакционного завхоза». Но состав оказался ужасно длинным. На тридцатом вагоне я не выдержал, мысленно простился с красавцем бидоном и уже бегом устремился к пятому пути, где стоял наш эшелон.

Увы, пятый путь был пуст! Где-то далеко-далеко издевательски мигал зеленый глаз семафора.

Худо бывает военному человеку, отставшему от своего эшелона, дорогие товарищи, ох худо! Бдительные коменданты станций читают ему нотации. Суровые начальники питательных пунктов дают еду с таким скрипом, что кусок не лезет в горло. А когда ты, оконча-

тельно изнемогший, догоняешь наконец на тормозной площадке случайного поезда свой эшелон, твое же начальство встречает тебя нахлобучкой, а товарищи — смехом и нелестными шутками.

Я постоял на пустом пятом пути и бросился назад на вокзал, к коменданту, проклиная Тесленко.

Комендант станции оказался типичным комендантом. Он сидел за столом, уставленным телефонными аппаратами всех видов и размеров, прозрачно-желтый от бессонницы, с красными набрякшими веками. Выслушав мой рапорт, он сказал ровным глухим голосом то, что, наверно, говорил не раз в день таким же растяпам, как я:

— Не надо отставать от своего эшелона!

Мне оставалось лишь пожать плечами и опустить грешную голову.

— Номер эшелона знаете?

— Не знаю!

— Надо знать номер своего эшелона! — тем же глухим, равнодушным голосом сказал комендант.

Он заглянул в тетрадь, лежащую на столе, и, назвав цифру, прибавил:

— Идите на десятый путь, там стоит эшелон, который отправляется через пятнадцать минут. Может быть, вы догоните своих через перегон. Советую торопиться!

И вот опять я ныряю под молчаливые, зловещие товарные составы и перелезаю через площадки, пробираясь на десятый путь, где стоит уже под парами спасительный эшелон.

Вот он — десятый путь!

Я стал вглядываться в темноту. Впереди мелькает красный огонек. Я быстро пошел по шпалам на огонек и вдруг услышал смех. Нет, это был даже не смех, а хохот. Дружный хохот многих здоровых мужских глоток. Мне он показался дивной музыкой. Я уже не шел, а бежал туда, где люди смеялись так весело, так дружно, так неудержимо.

Красный огонек оказался сигнальным фонарем последней теплушки длинного товаро-пассажирского состава, а смех раздавался в соседней.

Я подошел, постучал в стенку вагона. Смех смолк, дверь с грохотом отодвинулась в сторону, и я увидел сидевших и лежавших на полу солдат. На табуретке

стояла свеча. Молодой человек в общеармейской ушанке, но в шинели травянисто-зеленого цвета не нашего покроя, с узкими погонами, примостившийся у свечи, держал на коленях раскрытую книгу.

Коренастый старшина, открывший дверь, увидел мои офицерские погоны и, обратившись ко мне по форме, спросил, что мне нужно. Я сказал. Он проверил мой документ (на счастье, мое редакционное удостоверение было со мной) и, подав мне руку, помог влезть в теплушку. В тот же миг состав дернулся, задребезжал и тронулся.

Я прошел в угол и опустился на солому. Старшина сел рядом со мной и шепнул, показав глазами на молодого человека в зеленой шинели с книжкой на коленях:

— Из чешского корпуса. Тоже своих догоняет!

— Что он вам читал?

— Про бравого солдата Швейка. Их писатель Гашек сочинил. Слыхали про такого?

— Слыхал.

— Мы тут животы надорвали, смеявшись!

И он громко сказал:

— Давай читай дальше, Водичка!

Солдаты подхватили:

— Читай! Читай!

Покосившись на меня, легионер улыбнулся, отчего его круглое, здоровое лицо стало совсем мальчишеским, и начал читать.

Читал Водичка отлично. Легкий и очень милый акцент, с которым он произносил русские слова, усиливал неподражаемый юмор Гашека. Я знал «Швейка», что называется, назубок, много раз слышал отрывки из романа в исполнении первоклассных чтецов, но этот молодой солдат читал «Швейка» по-своему и заставлял как бы заново воспринимать много раз читанное и слышанное. Наверное, тут главную роль играла обстановка... Воинская теплушка... ночь... предчувствие близкой победы. И этот чешский юноша, читающий русским братьям солдатам любимого Гашека!

Через минуту я хохотал вместе со всеми, слушая чтение Водички.

Захваченные его чтением, мы даже не заметили, как состав стал сбавлять скорость и вскоре остановился.

Водичка снова положил книжку на колени. Кто-то из солдат недовольно сказал:

— Черт эти станции выдумал!

Коренастый старшина поднялся и открыл дверь теплушки. Холодный ветер ворвался в наше убежище и колыхнул пламя свечи.

Старшина выглянул из теплушки и сказал мне:

— Посмотрите, товарищ майор, уж не ваших ли мы догнали!

Я подошел и увидел стоящий на соседнем пути эшелон с классным вагоном посреди состава. У вагона на путях кто-то стоял. Присмотревшись, я узнал маленькую фигурку Тесленко с его осиной талией.

Я простился со своими спутниками, пожал руку Водичке и побежал к своему эшелону.

Тесленко, увидев меня, обрадовался, но, сдержавшись, спросил так, как будто ничего не произошло:

— А где бидон?

— Пропал без вести, — с удовольствием ответил я.

Тесленко пробурчал:

— Шпак — он всегда шпак! — И не стал меня ни о чем расспрашивать.

Раздался свисток нашего паровоза, и мы полезли в вагон.

Магические слова

Мы стояли в лесу под Брянском в домике лесника. Был 1941 год, конец августа — синие, сияющие, прохладные дни.

В газете нашего фронта, прикрывавшего Москву с фланга, я вел вместе с художником-карикатуристом Евгением Ведерниковым сатирический отдел «Осиновый кол».

Делая сатиру, я понимал, что это не все, что я хочу и что могу делать во фронтовой газете. Но для того чтобы делать это другое, нужно было ездить с редакционными заданиями на передний край. А наш редактор не давал мне таких заданий. В ответ на мои просьбы, жалобы и нытье он повторял одно и то же:

— «Осиновый кол» должен выходить регулярно. Вы

прекрасно знаете, что вы у меня один писатель-сатирик. Я обязан вас беречь.

Эта фраза произносилась хладнокровным голосом старшего по званию, но при этом карие женственные глаза редактора улыбались.

Наконец редактор дрогнул и отпустил меня в распоряжение одной из наших армий. Вместе со мной поехали: старший политрук Б-в, спокойный, обстоятельный человек, работавший до войны в газете какого-то волжского города, и шофер Шарапов, москвич, пожилой, тихий.

На полном ходу мы проскочили на нашей полуторке Брянск (я сидел рядом с Шараповым в кабине, а бедняга политрук трясся в кузове) и вскоре очутились среди полей, удивительно тихих, печальных и безлюдных в этот бодрый утренний час. От страшного безлюдья и зловещей тишины — ни стука тележного колеса, ни рокота мотора — поля казались беспредельно огромными, и я подумал, что они, наверное, были такими в половецкие времена.

Вдруг Шарапов толкнул меня локтем в бок и глазами показал на что-то неподвижно лежавшее на дороге, на какую-то коричневую груду. Из-за своего плохого зрения я не сразу разобрал, что это такое, и лишь когда Шарапов остановил машину, увидел, что коричневая груда — это труп коня.

Мы вышли из машины. Ладный упитанный мерин лежал на боку, откинув голову с оскаленными зубами, вытянув в последнем напряжении все четыре ноги. Он был неправдоподобно велик — настоящий богатырский конь! — и неправдоподобно красив на фоне таких декораций, как неоглядные пустынные поля и золотой лучащийся солнечный шар, медленно поднимавшийся над горизонтом. Я сказал об этом политруку. Он неодобрительно покачал головой.

— Либо наш брат солдат,— сказал Шарапов, закуривая самокрутку. — Либо — колхозный. Сколько тут народу уходило от немца! Вот и загнали коня! У него, по всему видно, сердце разорвалось.

Мы еще постояли немного, покурили и поехали дальше на запад. Оглянувшись, я увидел, как на тушу бедного мерина, мягко спланировав, опустился крупный степной ворон.

Следы войны стали встречаться чаще. В мелколесье, куда привела нас полевая дорога (мы ехали в одну из самых дальних от Брянска фланговых наших армий), мы наткнулись на колонну обугленных вражеских военных грузовиков — это была славная работа наших ИЛов, или «горбачей», как прозвали летчики-штурмовики свои могучие бронированные машины.

Тут же в кустарнике стояла немецкая сгоревшая танкетка, от нее зловонно несло спекшимся железом, на траве валялись: разорванная бумага, очень много бумаги и целая пачка иллюстрированных журнальчиков,— с цветных фотографий на их глянцевых обложках зазывно улыбались полуголые красотки — дебелые Валькирии из солдатских и офицерских кабаре.

Лишь под вечер мы наконец въехали на широкую улицу деревни, обозначенной на карте политрука как конечный пункт нашей поездки. В районе этого чудом уцелевшего населенного пункта, на днях лишь отбитого у противника, по данным штаба фронта, располагались бригада мотопехоты и танковая часть, остановившие в ходе встречных боев натиск танков генерала Гудериана, пытавшихся прорвать здесь наш фронт [1].

Мы медленно проехали мимо солдатского немецкого кладбища — ровные шеренги обязательных березовых крестиков с надетыми на них касками — и выбрались за околицу. Деревня казалась пустой, вымершей. Ни одной живой человеческой, даже собачьей души мы не встретили.

Шарапов — по наитию — остановил машину подле крайней избы-пятистенки с резными наличниками на окнах.

Мы с политруком вышли из полуторки и услышали доносившийся из дома женский плач и жалобные причитания. Мы переглянулись. Окно соседней избы открылось, и в нем появилась седобородая голова с хитрющими цепкими глазами.

— Вам чего, товарищи военные? — спросил обладатель седой бороды и цепких глаз.

— Местный житель? — строго спросил его политрук.

— Не житель, а считай — дожитель.

— Чего это соседка твоя голосит?

---

[1] Гудериану удалось сделать это позже и в другом месте.— *Прим. авт.*

— Мужа забрали.

— Немцы?

— Нет, наши. Он полицаем был, а сбежать не успел — застукали его. Вот она и воет: хоть и Иуда, а все ж таки муж. Супруг!

— Слушай, дед, ты знаешь, где наши стоят?

— Я даже и того не знаю, кто ваши, а кто не ваши! — сказал дед, намереваясь закрыть окно.

— Обожди! — сказал с прежней строгостью политрук.— Ты что — сомневаешься? Не видишь, чья форма на нас?

— В одежде вашей я не сомневаюсь! — неопределенно сказал дед.

— Тогда на, гляди документы!

Политрук достал из кармана гимнастерки свое удостоверение и подал деду в окно. Дед долго елозил по документу бородой и глазами, потом, смягчившись, отдал его политруку и сказал шепотом:

— Поищите в том лесочке! — Он показал рукой на черневшую вдали сосновую рощу и с треском захлопнул окно.

В сосновом лесу мы нашли то, что нам было нужно. Начальник политотдела бригады, замороченный, охрипший по всем признакам, смертельно усталый батальонный комиссар, все разговоры с нами отложил до утра, распорядился, чтобы нас покормили и широким гостеприимным жестом показал на зеленый мох у красавиц сосен:

— Располагайтесь по-солдатски: кулак под голову, шинель на голову. В палатках «местов нет»!

Нет так нет! Мы поужинали и, решив, что утро вечера мудренее, улеглись по-солдатски на земле-матушке. Вскоре я собственными ягодицами ощутил, что земля-матушка не только поката, как сказал поэт, но жестковата. Тем не менее я уснул и проснулся лишь утром.

Политрук — лицо его было помято от неудобного сна, но сам он был уже на ногах, бодр и полон энергии — сказал мне:

— Я уже поговорил с батальонным комиссаром. Вас сейчас отведут к мотострелкам — это тут же, в лесу,— там у них есть лейтенантик, фамилию его вам скажут, три немецких танка подбил гранатами, не дал им прорваться. Герой! Потом поедете к танкистам. Ночевать

будете у них, утречком они дадут провожатого, и пойдете на передовую в окопы. Но тут сейчас полное затишье, ничего интересного не увидите.

— А вы?

— У меня свои дела и свои темы! — сказал политрук. — Идемте!

Лейтенант с кроткой фамилией, если не ошибаюсь, Голубь — румяный, мило застенчивый юноша, почти мальчик, оказался московским студентом одного из технических институтов и к тому же классным спортсменом. Выпытывать у него подробности боя было очень трудно, потому что лейтенант закидал меня встречными вопросами.

— Вы давно из Москвы? Не знаете, как там наше Замоскворечье? А театры работают? А как Большой театр охраняется от воздушных налетов? Правда, что он в таком камуфляже, что сверху не узнать, что это и есть Большой?

Все же мне удалось исписать почти весь блокнот, и мы с лейтенантом расстались друзьями.

К танкистам я приехал, когда уже стемнело. Они стояли на берегу мелкой речушки, быстрой и очень холодной. Их машины были замаскированы копнами сена и ветками. Высокий офицер привел меня в избу, представил своим товарищам и сказал мне:

— Давайте так договоримся: ничего мы вам рассказывать не будем, а вот вы будете. Почитайте ваши рассказы, говорите, о чем хотите, короче — у нас сегодня вечер отдыха. Понятно?

— Понятно! — сказал я, внутренне радуясь тому, что, уезжая из домика лесника, сунул в вещевой мешок на всякий случай книжку своих рассказов.

Много я выступал на своем веку и перед разными аудиториями, но этот литературный вечер никогда не забуду! Потом был ужин, — мужской солдатский ужин, с солеными анекдотами, с добрыми шутками, с рассказами моих новых друзей из их боевой жизни. Я не записывал их рассказы — это было бы бестактно. Тут же я получил гонорар за свое выступление — командир танкистов отчислил в мою пользу свои законные армейские сто граммов водки! А утром начались неприятности. Мы с командиром танкистов умылись на берегу и почистили зубы ледяной речной водой. По-прежне-

му было тихо, лишь иногда эту тишину рвали одиночные выстрелы или короткие пулеметные очереди: передовая там, вдали за речкой, жила своей жизнью. Мы возвращались в избу, и вдруг я увидел своего политрука, мчавшегося мне навстречу. Мы поздоровались.

— Я получил приказ редактора через армейскую связь немедленно отправить вас с Шараповым в редакцию, — сказал политрук с непроницаемым видом. — Я останусь здесь, а вы — собирайтесь.

— В чем дело?

— Не знаю. Наверное, специальный номер будут готовить, и ваше перо понадобится. Шарапов все знает. Вон он стоит.

Он показал мне на нашу полуторку, слегка замаскированную сосновыми ветками, стоявшую у избы.

И вот мы с Шараповым катим под Брянск. Погода резко и сразу испортилась, пошел дождь, сначала мелкий, нудный, потом он превратился в ливень. Карты с нами не было, и мы сбились с дороги — желтые раскисшие ее суглинки хватали нас за колеса, мы застревали, кое-как вылезая из колдобин и ухабов, и катили дальше. На одном таком треклятом перегоне мы догнали небольшую группу — их было человек десять, двадцать — солдат-пехотинцев, во главе со старшиной, скуластым, серьезным, даже суровым мужчиной в черной мокрой пилотке, в разбухшей от дождя шинели, с автоматом на ремне через плечо.

Шарапов затормозил полуторку.

— Садись, царица полей, подвезу!

Промокшие и, видимо, озябшие солдаты молча залезли в кузов машины, и мы поехали дальше. И только доехали до развилки, как застряли в глубокой колдобине, да так крепко, что Шарапову, несмотря на все его усилия, не удалось вырвать машину из глины. Дождь хлестал как из ведра. Шарапов вышел из кабины, мрачно посмотрел на колеса и сказал, обращаясь к солдатам:

— Подсобите, ребята. Я газану, а вы сзади толкайте!

Солдаты один за другим спрыгнули через борт, в ливень, в глинистое месиво дороги, и началась пытка, знакомая каждому, кто мотался по военному бездорожью на попутных и прочих машинах. Из-под колес ле-

тели фонтаны желтой жидкой грязи, машина ревела, урчала и содрогалась, солдаты толкали ее изо всех сил, Шарапов, не жалея, жег бензин — и все без толку! Так мы промучились минут пятнадцать. Скуластый старшина взглянул на ручные часы и подал команду построиться. Солдаты построились в колонну по два в ряд. И пошли, направляясь к развилке. Наверное, у них не было больше времени возиться с нами, да и не по пути уже было!

Они уходили, а мы с Шараповым беспомощно стояли под дождем на дороге и не знали, что делать. И вот тут тихий, безответный Шарапов на моих глазах чудесным образом преобразился. Он подбоченился, сдвинул на ухо мокрую пилотку (мне показалось даже, что он стал выше ростом) и выкрикнул в спину уходящим солдатам — не жалобно, не просяще, а озорно, звонко, как-то по-хозяйски даже:

— Куда же вы уходите,— так-то вашу и так! Тут Москва засела, а вы ее бросаете. Кто из вас московский, — остановись!

Солдаты услышали этот звонкий веселый вопль, — я понял это по их дрогнувшим спинам. Старшина подал новую команду.

На этот раз Шарапову и солдатам удалось довольно быстро вырвать машину из ее глинистого плена, и мы выехали на относительно твердую колею. Солдаты снова построились по два в ряд. Я сказал скуластому старшине:

— Вы — москвич?

— Нет,— сказал он, — татарин из Казани.

— А кто-нибудь тут есть из Москвы?

Солдаты помолчали. Один, низенький, коренастый, бросил простуженным тенорком:

— Я из Подольска, почти москвич.

— Москву нельзя бросать! — сказал скуластый старшина и впервые улыбнулся.— Москва — всему делу голова!..

Солдаты ушли. Они дошли до развилки и свернули налево, а мы с Шараповым поехали прямо.

До сих пор звучат в моих ушах эти простые и сильные слова, сказанные под ливнем на военной дороге скуластым старшиной из Казани:

— Москва — всему делу голова!

Земляк с палкой

Дом, в котором я жил несколько лет тому назад, стоял в маленьком переулке в самом центре Москвы.

Вблизи пролегала важная уличная магистраль, но ее мажорное грохотанье здесь, в переулке, превращалось в несильный, вполне терпимый шум. Он был очень зеленым, наш переулок, его провинциальную уютность ценили нахальные столичные воробьи. Они жили горластым коммунальным общежитием среди ветвей старых дубов и молодых лип, вытянувшихся вдоль тротуаров, а свои всегда скандальные общие собрания проводили прямо на мостовой. Наверное, на этих собраниях крикливые пичужки обсуждали всякий раз один и тот же проклятый вопрос, одну и ту же жгучую проблему — как прокормиться городскому воробью в условиях безлошадного транспортного хозяйства?

Однажды, прогуливаясь по переулку, я засмотрелся на одно такое воробьиное сборище. Оно было бурным, очередные ораторы наскакивали друг на друга, в воздухе уже летали пух и перья, вот-вот должна была начаться всеобщая потасовка.

Зрелище это настолько захватило меня, что я не заметил, как он подошел ко мне.

— Любуетесь птичками? — сказал он басом, таким густым и громким, что воробьи тотчас же брызнули в разные стороны, а я вздрогнул и оглянулся.

Рядом со мной стоял кряжистый, пожилой мужчина. Большой толстый нос (такие носы называют «рулями»), крупные оспинные рябины на щеках, глаза маленькие, темные, «медвежьи». Взгляд добродушный, но очень цепкий. Он был в длиннополом пальто из добротного серого тяжеленного драпа, на его голове, опершись на торчащие крупные уши, важно восседала темно-зеленая велюровая шляпа. В руке он держал толстую бамбуковую палку с ручкой в виде змеиной головы.

— Вы меня не узнаете? — спросил он, дав остыть моему недоумению.

— Не узнаю, — сказал я. — А вы меня разве знаете?

Он усмехнулся, как мне показалось, несколько зловеще.

— Я-то вас очень даже хорошо знаю... Я — Лученко. Помните такую фамилию?

— Лученко? — Я пожал плечами.

— Я вам помогу меня вспомнить! — сказал он. — Вы когда-то писали фельетоны в одной такой... краевой газете? А?!

— Писал! Но это было давно. На заре, так сказать...

— Вот именно, на заре. Вы написали фельетон обо мне... Я тогда жилищными делами завинчивал... Лученко Владимир Павлович... Помните?

Он впился в меня своими медвежьими глазками, взгляд их как бы сверлил мой бедный мозг, проникая в те его тайники, где хранятся давние отработанные воспоминания. И досверлил до нужного ему горизонта.

— Вспоминаю! — сказал я. — К вам пришел какой-то студент, просил комнату, а вы его обругали и выгнали из кабинета. Когда он сказал вам: «Почему вы со мной так обращаетесь, я — студент!» — вы ему ответили: «Мы из таких студентов в восемнадцатом году лапшу делали». А студент этот был сыном батрака, комсомольцем!

— Правильно! — обрадовался он. — Погорячился я. Все точно. В фельетоне вы ничего не наврали, но в очень уж обидном свете меня изобразили! Куда, бывало, ни приду, смеются, одни — за спиной, другие — прямо в глаза.

— Давно ведь это было! — сказал я примирительно.

— Давненько! — согласился он. — А вот увидел вас и... снова жжет!

Он помолчал и прибавил:

— Я ведь тогда бить вас хотел. Даже палку приобрел! Специальную!

— Вот эту? — я показал глазами на его палку с ручкой в виде змеиной головы.

— Не эту, но вроде этой. Тоже бамбуковую. Для такого дела обычная трость не годится, можно сильно изувечить, а бамбуковая... в самый раз!

— Почему же вы меня не побили?

— Жена была против. «Нельзя рабкоров бить, тебя за это по головке не погладят!» Я говорю: «Он не раб-

кор!» А она на своем стоит: «Пускай не рабкор, а все равно — печать». Такие баталии семейные у нас происходили из-за вашей персоны — не приведи господь!..

— Ваша супруга жива и здорова?

— Давление у нее, но ничего... держится!

— Передайте ей от меня привет! — сказал я с самым искренним чувством.

Он кивнул головой:

— Передам!.. Никак я не мог тогда перебороть свою обиду на вас. Был у меня в отделе один инспектор, он мне советовал заявление на вас написать куда нужно. «Вы, говорит, Владимир Павлович, напишите, что он бывший белый юнкер, а его отец — камер-юнкер». Я говорю: «А если это не так?» — «Пускай разберутся, а свидетелей всегда можно найти». И подмигивает мне одним глазом, сукин кот! Я его прогнал. И опять принялся мечтать насчет битья. Мне даже сны стали сниться, как я вас бью... Прихожу в редакцию, вы сидите за столом, я говорю: «Здравствуйте, я — Лученко», поднимаю палку...

Он поднял свою палицу, и я невольно сделал шаг в сторону.

— ...и хрясь по кумполу...

— Почему же вы меня все-таки тогда не хряснули? — спросил я.

— Чистая случайность. Однажды уже собрался, пошел в редакцию...

— С палкой?

— С палкой. И на улице встретился с женой — она возвращалась с базара. «Куда идешь, Володя?» — «Туда, куда нужно, Соня!»— «Володя, ради бога, не надо, не жалеешь меня — пожалей хоть своего ребенка!»

— Извините,— перебил я его. — А почему ваша жена решила, что вы идете именно в редакцию бить меня?

— Потому что я был с палкой. Обычно-то я без палки ходил. Я говорю ей: «Не удерживай меня, Соня, не могу, душа горит». — «Ты совсем с ума сошел. Через месяц после фельетона... да еще трезвый... ни одного же смягчающего обстоятельства! Не пущу! Буду кричать!» Прохожие на нас оглядываются... неудобно. Тем более что меня в городе многие знали...— Он по-

молчал. И потом сказал, вздохнув: — Так и не состоялось.

— Я вам очень сочувствую! — сказал я.

Воробьи, вернувшиеся тем временем на мостовую продолжать свои прения, снова стали, чирикая и надуваясь, наскакивать друг на друга.

Он посмотрел на меня ласково, но загадочно и сказал:

— Давайте зайдем, посидим, выпьем коньячку, я знаю тут не далеко одно симпатичное местечко... Вспомним старину, мы же все-таки земляки с вами!

Краешком глаза я увидел, что пальцы его, сжимавшие змеиную голову палки, при этом побелели от напряжения. А может быть, мне это показалось?!

Я поблагодарил его за приглашение и, сославшись на занятость и нездоровье, отказался.

Потом я еще раза два встречал Лученко в нашем переулке, но, заметив издали его представительную фигуру, переходил на другую сторону. Он же, приветствуя меня, поднимал свою палку.

Потом я переехал в другой район Москвы и больше не встречал его. Где он, жив ли, не знаю. Но до сих пор меня грызет досада на себя за то, что я тогда не пошел посидеть с ним в одно «симпатичное местечко», не вспомнил молодость и доброе старое время. Ведь земляк всегда земляк. Даже тот, который с палкой.

Гостеприимство в квадрате

Вечер в Стамбуле

I

Утром меня разбудил муэдзин. Я проснулся от его жалобного и страстного призыва, голос был резкий, неприятный, с какими-то козлиными нотками, и я долго лежал с открытыми глазами и не сразу понял, где я и что со мной происходит.

Потом пришла ясность: я же в Стамбуле, куда прилетел вчера из Анкары, а в Анкару из Москвы!

Вставать не хотелось, но я заставил себя подняться и вышел на балкон, чтобы взглянуть на утренний Босфор.

С вершины холма, на котором стоял наш старенький уютный отель, Босфор, кативший внизу свои сильные и скорые воды, был виден на большом протяжении. Он не «полыхал голубым огнем», потому что январское утро было туманным, но туман быстро редел, и чистые небеса над горизонтом обещали отличный день.

Пролив жил своей рабочей размеренной жизнью. Из Черного моря в Мраморное и дальше в Эгейское и Средиземное и в обратном направлении в Черное двигались работяги-грузовозы, с европейского берега на азиатский и с азиатского на европейский уже сновали катера-перевозчики, белели паруса нарядных спортивных яхт, спешили с богатым уловом к пристаням рыбацкие шаланды.

Стоять или сидеть в плетеном кресле на балконе, любуясь величественной трудовой сутолокой Босфора, можно часами, но свежий ветерок заставил меня ретироваться. Я ушел к себе в номер, бросив прощальный взгляд на круглую, из розового камня башню минарета,— она возвышалась во дворе рядом с отелем. Именно с ее верхней площадки муэдзин три раза в день призывает правоверных мусульман творить помаз во славу аллаха. Вернее, однако, будет сказать, что это делает не живой муэдзин в своем натуральном виде, а магнитная пленка, на которую записан его жалобный козлетон.

На арбиту технической революции вышел и Ислаим!

II

Ровно в 10 часов утра, как было условлено, за мной и моими спутниками по путешествию заехали наши новые друзья из Синдиката турецких писателей, и я вернулся в отель лишь к вечеру. Я не пошел вместе со всеми в кино, а решил как следует отдохнуть. Я разделся, лег в постель и по давней своей привычке стал пос-

ледовательно, кадр за кадром, вспоминать прожитый день.

...Утром мы очутились на площади Таксим в центре Стамбула. Площадь была оцеплена полицией. Худощавые горбоносые молодцы с ястребиными глазами, в белых шлемах и черных куртках из синтетической ткани, с американскими короткими автоматами под мышкой — палец на спусковом крючке! — по трое и по два разгуливали вокруг площади. Тут же стояли радиофицированные бронетранспортеры. Полицейские офицеры в полевой форме выкрикивали распоряжения, истошно голосили продавцы кебаба и шашлыков, стоя у своих жаровен, смердевших подгорелым бараньим жиром, повсюду шныряли молчаливые бежевые псы, выпрашивая у людей подачки глазами и хвостами.

Сюда на площадь из разных районов огромного города, как нам сказали, двигаются сорок пять тысяч стамбульских рабочих, служащих, студентов, чтобы послушать речи ораторов левых партий. Ораторы должны выступить на легальном митинге, созванном с разрешения правительства Эджевита. Полиция присутствует лишь «для порядка».

Мы покинули, однако, площадь Таксим по совету наших друзей до начала митинга. У стамбульцев еще свежи воспоминания о майских днях 1977 года, когда нервные турецкие полицейские неожиданно открыли огонь по мирным рабочим демонстрантам и убили 38 человек. Это произошло, правда, когда у власти стоял правый лидер Демирель, но... береженого аллах бережет!..

...Потом мы оказались на высоком берегу Босфора, где привольно раскинулось одно из городских кладбищ. Надгробные плиты подходят здесь почти вплотную к подъездам обшарпанных домов и домишек, живые и мертвые обитают в теснейшем соседстве, и дети играют в прятки среди могил. Признаюсь,— этот странный жилой комплекс произвел на меня тягостное впечатление.

Мы приехали сюда, чтобы побывать в кофейне, в которой коротал свои дни Пьер Лоти, но она оказалась закрытой на ремонт, и нам не удалось увидеть ее убранство и посидеть за столиком, за которым сиживал, сочиняя свою Турцию, влюбленный в нее

бульварный французский романист. Стамбул сохранил о нем память,— кофейня так и называется «Пьер Лоти».

III

На кадре «Лоти» я задремал. Разбудил меня на этот раз не козлетон муэдзина, а телефонный звонок.

Мужской голос что-то говорил по-турецки. Я сначала по-русски, потом по-французски ответил, что не понимаю турецкого языка. Тогда мужской голос сменился женским,— говорила сотрудница отеля. Она по-французски объяснила, что пришли двое мужчин и просят меня спуститься вниз в вестибюль. Я понял, о ком идет речь! Мой друг, абхазский писатель-сатирик дал мне номер стамбульского телефона своего родственника по линии жены, потомка абхазцев, переселившихся в Турцию более ста лет тому назад.

— Он вам окажет гостеприимство в квадрате! — сказал мне мой веселый друг.— Я ему говорил, что вы приедете в Турцию, когда он гостил у нас в Сухуми.

— Что значит: «гостеприимство в квадрате»? — спросил я.

— Вы знаете, что абхазцы славятся своим гостеприимством, турки — тоже, помножьте абхазское гостеприимство на турецкое — это и будет гостеприимством в квадрате, которое вам окажет Дабри-бей. Так его зовут.

— Чем он занимается в Стамбуле, ваш Дабри-бей?

— Он — владелец ресторанчика — такого... в старотурецком духе. Он — добрый, хороший человек. Его даже капитализм не мог испортить!

Когда я прилетел в Стамбул, я позвонил Дабрибею, его не оказалось дома,— я попросил передать, что привез привет от его родственника, и назвал себя и адрес отеля, в котором остановился.

Я спустился в вестибюль. Навстречу мне шагнул, простирая руки для объятий, пожилой человек в роговых очках, в добротном демисезонном пальто и в шляпе, показавшейся мне старомодной. Мы расце-

ловались так, как будто знали друг друга не менее ста лет, и Дабри-бей произнес по-турецки длинную и пылкую тираду, из которой я не понял ни слова.

Подошла сотрудница из бюро сервиса отеля и перевела мне суть приветственной речи Дабри-бея на французский. «Он выражает свою радость по поводу прибытия господина профессора в Стамбул,— сказала сотрудница,— благодарит за привет и просит вас оказать ему честь и поужинать вместе с ним, но не у него в ресторане, а в другом столь же интересном месте».

Узнав от Дабри-бея, что я стал «профессором», я несколько растерялся и начал мямлить по-французски, что я сыт и чувствую себя усталым, но тут подошел спутник Дабри-бея, толстоусый брюнет с мощным торсом, похожий на борца или на боксера, а еще больше на кота Бегемота из булгаковского романа про Мастера и Маргариту, и тоже заключил меня в свои могучие объятия.

Гостеприимство в квадрате началось!

Я покорно сел в машину, ожидавшую нас у подъезда отеля, и мы нырнули в круговерть предночного Стамбула. Мы перескочили босфорский мост — замечательное сооружение, как бы висящее в воздухе на стальных струнах,— и потом долго колесили по полутемным улицам и переулкам.

Наконец машина остановилась — надо было вылезать из нее. Мы прошли за угол, пересекли палисадник и оказались перед входом в ресторан.

Мальчик-гардеробщик взял наши пальто, и мы направились в зал навстречу гремевшей музыке. Небольшой, но хорошо сыгравшийся оркестр играл что-то знакомое, даже больше чем знакомое, но в своей залихватской кабацкой манере. Я остановился, прислушался. Господи, да ведь это же наша «Дубинушка»!

Надтреснутый, с интимной хрипотцой тенор пропел по-русски:

— Эй, юхнем... еще раз юхнем!..

Мы вошли в зал и сели за уже накрытый стол. Подходили какие-то люди, видимо соотечественники Дабри-бея,— они почтительно кланялись «профессо-

ру» и садились за наш стол. Узкогрудый и бледный молодой человек поцеловал по горскому обычаю мою руку.

Официант принес раки для хозяев стола и бутылку белого вина для «профессора», и наша безмолвная тайная вечеря началась.

IV

Мы ели, пили, чокались через стол, любезно улыбались. Досада моя на самого себя росла! Хоть бы он скорее кончился, этот трудный ужин! Неужели среди этих симпатичных людей нет ни одного, кто мог бы стать нашим переводчиком?!

Оркестр смолк. Наступила законная пауза в его работе. Пианистка — пожилая, профессионально сутуловатая женщина в черном вечернем платье с блестками — поднялась и направилась прямо к нашему столу. Я встал. Она сказала, с улыбкой, на хорошем русском языке:

— Дабри-бей говорил, что вы приехали из Советского Союза. Я — русская, меня зовут Алевтина Иоанновна.

Я пожал ее маленькую сильную руку. Она села рядом со мной на свободный стул.

— Вы давно живете в Стамбуле, Алевтина Иоанновна?

— Фактически всю жизнь. Я, как теперь говорят, из первой эмигрантской волны. Мне семьдесят шесть лет, а привезли нас сюда, когда мне было девятнадцать.... Мои родители жили в Кисловодске, я окончила там гимназию. У нас была своя дача на Российской улице. Интересно, сохранилась ли в Кисловодске такая улица? Вы не знаете случайно?

— Не знаю, Алевтина Иоанновна! Вы, наверное, офицерская жена?

— Как вы догадались?

— Мой отец был военный врач, я хорошо знал офицерскую среду. А потом, вы же сказали, что вы из первой эмигрантской волны. А как могла кисловодская гимназистка в то время попасть в Турцию?

Или с помощью генерала Деникина — через Новороссийск, или при содействии генерала Врангеля — из Крыма.

— Из Крыма! Мой муж — я вышла замуж в восемнадцать лет — был врангельским офицером-танкистом. Ему было двадцать два года, когда его танк попал в «волчью яму» в Таврии в бою под Каховкой на Днепре. Был тогда такой городок... в общем, станция, если я только не путаю... я еще помню станцию Большой Токмак... Тоже где-то там, рядом.

Я слушаю, что мне говорит старая ресторанная пианистка, и у меня возникает странное ощущение полной нереальности того, что происходит. Уже нет ни этого стамбульского ресторана, ни почтенного Дабри-бея, ни его гостей. Река времен вдруг остановилась, потекла вспять и обрушила на нас свои цунами.

Глядя прямо перед собой, Алевтина Иоанновна продолжала говорить, вспоминая то, что было пятьдесят восемь лет тому назад:

— Я — племянница генерала Богаевского Африкана Петровича, последнего донского атамана. Его жена моя родная тетка. Я тоже была на фронте в Таврии... Пришла, помню, на какую-то станцию с нашей базы, вижу — стоит поезд. Синие вагоны с атаманскими донскими эмблемами. Я — к часовому. «Вызовите ко мне адъютанта атамана». Вышел интересный сотник, я попросила доложить Африкану Петровичу, что его хочет видеть Аля — его племянница. Африкан Петрович сам помог мне забраться на вагонную площадку, повел в свой салон. А там — ужасный разгром! Что такое?! Оказалось, что атаманский поезд попал в западню — въехал на какую-то станцию, а она была захвачена буденновцами. Поднялась страшная стрельба, началась паника, атаман и офицеры штаба бросили свой поезд, разбежались и попрятались в кустах. Буденновцы весь поезд разгромили, но впопыхах забыли подорвать паровоз и ускакали. Когда они ускакали, офицеры вылезли из кустов, развели в паровозе пары и поскорей ходу оттуда!

Она поднимает на меня свои блеклые, все еще красивые глаза и спрашивает:

— Вы знали Африкана Петровича?

— Знал! Как историческую личность. На Дону было два Богаевских: Африкан — генерал и атаман и его брат Митрофан — учитель, член донецкого круга,— он славился как оратор, его прозвали «донским соловьем»! Все это было, было и быльем давно уже поросло, Алевтина Иоанновна!

Опустив голову, прижав ко лбу ладонь, Алевтина Иоанновна плачет, подавленная своими воспоминаниями. Мелкие слезинки катятся по ее увядшим щекам. Потом она берет себя в руки, выпрямляется и вновь превращается в светскую пожилую даму. Мы продолжаем наш разговор.

— Как же вам тут живется, Алевтина Иоанновна?

— Я благодарю бога и поминаю добром папу и маму за то, что они учили меня музыке. Музыкант — это та профессия, с которой не пропадешь!.. Видите, там, у стены, стоит мужчина? Вон тот — седой, красивый. Это наш виолончелист и певец! Он грек, его зовут Теодор. Известная личность! Ему шестьдесят семь лет, но девчонки до сих пор за ним бегают, назначают свидания. Он — мой друг, мы давно вместе работаем.— В ее голосе звучат горделивые нотки.— Можно смело сказать, что публика на нас ходит!.. В прошлом году с нами случилась большая беда!

— Какая?

— Сгорел ресторан, в котором мы работали, и все наши ноты погибли, весь репертуар. Представляете? Мы полгода были без работы.— Алевтина Иоанновна зябко поводит плечами.— Но, слава богу, все обошлось!

— Много русских живет в Стамбуле?

— Я общаюсь только с теми, кто из первой волны, таких мало. У нас есть своя церковь, мы там встречаемся. Я среди наших дам самая молодая.

— Каждый день работаете, Алевтина Иоанновна?

— Каждый день. До часу ночи.

— А живете далеко?

— На том берегу.

Скользящей походкой ловкого танцора к нашему столу подошел Теодор. Мы познакомились. Он заговорил по-французски, но говорил так быстро и так

свободно, что я спасовал, и разговор наш не состоялся. Теодор перебазировался от меня к Дабри-бею. Он стоял подле его стула, почтительно перегнувшись почти пополам (владелец ресторана — это же персона для ресторанного певца!), и Дабри-бей ласково гладил его по седым кудрям, а потом в знак особого расположения подцепил вилкой со своей тарелки немного салата и дал Теодору, и тот ловко сглотнул с хозяйской вилки угощение.

Я сказал Алевтине Иоанновне:

— Можно мне задать вам один не очень деликатный вопрос?

— Пожалуйста, задавайте!

— Представьте себе, что у вас появилась возможность вернуться на родину. Как бы вы посмотрели на это?

Слабая улыбка тронула ее губы.

— Ну, вы же понимаете... вся жизнь прошла здесь, а потом,— в ее блеклых глазах вспыхнул огонек непримиримости, — все-таки мы живем здесь кто как хочет!..

Сказала и сразу поднялась. Видимо, мой вопрос не понравился ей, да и пауза кончилась, пора было приниматься за работу.

Оркестр играл в честь «профессора» весь свой русский репертуар: «Подмосковные вечера», «Эй, ухнем», «Очи черные» и «Калинку». С легкой руки, вернее, ноги наших блистательных фигуристов «Калинка» покорила весь мир.

Теодор оказался на высоте. Он пел все эти песни по-своему талантливо, выкидывая всякие неожиданные коленца. «Калинку» он не только пел, но и танцевал, комично подкидывал фалдочки пиджака, демонстрируя бешеный темперамент.

Потом опять была пауза, но включили магнитофон, и начались танцы. С Теодором пошла танцевать женщина с милым лицом мягкого славянского типа. Танцевала она с каким-то исступленным отчаянием. Алевтина Иоанновна шепнула мне, что это — вдова министра, миллионерша, очень хорошая женщина, жаль только, сильно пьет: не то от горя, не то от скуки.

— Она не похожа на турчанку! — сказал я.

— А она только по отцу турчанка. Она из Киева, ее мать — хохлушка!

Всему приходит конец, даже гостеприимству в квадрате. Мы попрощались с Алевтиной Иоанновной и Теодором, и сын Дабри-бея — им оказался бледный молодой человек, поцеловавший мою руку,— отвез меня в отель.

Я поднялся к себе в номер и, не зажигая света, вышел на балкон. Стамбул, таинственный, греховный, сверкающий, дышал ночной свежестью. По Босфору медленно двигались судовые огни. Осмелевшие к ночи собаки лаяли навзрыд. Река времен спокойно текла в своем обычном русле, в заданном ей природой направлении.

...Утром меня снова разбудил муэдзин.

Встречи на пути

Андреев

Зимний петербургский вечер. За окнами нашей детской комнаты густыми хлопьями валит мокрый снег. Мы с братом уже лежим в кроватях. Сегодня нас уложили раньше обычного, потому что папа и мама уезжают на концерт.

Тихо скрипнула дверь. Мы притворяемся, что уже спим, а сами, чуть приоткрыв глаза, видим, как в детскую осторожно, на цыпочках, входят отец и мать. О, какие они сейчас нарядные, торжественные, непохожие на обычных, каждодневных папу и маму! Они пришли попрощаться с нами. Папа в черном фраке, с белой крахмальной грудью стал стройнее, моложе... Очки в легкой золотой оправе, распущенные рыжеватые усы... Как всегда, у него на лице улыбка — его, папина, добродушно-насмешливая.

Тяжелый шелк маминого вечернего платья таинственно шуршит. Мамины теплые губы касаются моего лба.

Папа и мама уходят так же тихо, как вошли. А мы садимся в постелях и, завернувшись в одеяла, начинаем разговаривать.

Я уже знаю, что папа и мама поехали «на концерт к Андрееву» и что папа будет там играть на балалайке. Но что такое «концерт» и «оркестр», представить себе не могу.

Я знаю также, что мой папа — доктор, он лечит ухогорлонос (эти три слова для меня сливаются в одно), а по утрам уезжает на службу в госпиталь. Но в доме у нас больше говорят о музыке, чем о болезнях и лекарствах. А музыка — это Андреев!

Отец играет на балалайке, на домре, на гуслях,

на гармонике, на пастушеской жалейке,— не говоря уже о рояле и гитаре. Любой народный музыкальный инструмент живет, звенит и поет в его ловких руках. У него абсолютный музыкальный слух. Когда он увлечен балалайкой, он говорит только о балалайке и играет дома только на ней. Завтра на смену балалайке приходит жалейка, и тогда из его солидного докторского кабинета летят пронзительные и печальные звуки пастушеского рожка. Больным, пришедшим на прием, говорят:

— Обождите одну минуточку. Сейчас доктор кончит играть и вас примет!

И все это — для Андреева и во имя Андреева!

И вот наконец я увидел самого Андреева и услышал его оркестр. Нас с братом взяли на концерт. Не помню, где он происходил. В памяти остался роскошный сверкающий зал, переполненный до отказа. Мы с мамой сидим в одном из первых рядов. На эстраде перед нотными пюпитрами расположились молодые мужчины — все в черных фраках, с белыми манишками.

Я таращу глаза, тщетно пытаясь разыскать среди них отца.

— Мама, где же папа?!

— Ну, вон же папа сидит. С балалайкой. Видишь?

— Где?

— Да вон же!

Увы, у меня плохое зрение. Я чуть не плачу.

— Где он, мама?! Там?

— Нельзя пальцем показывать. Не там, а там!

Я все ищу глазами отца, вдруг по рядам прокатывается волна аплодисментов. Она вызывает другую, а через секунду уже весь зал бурно аплодирует вышедшему из-за кулис на эстраду очень худому, очень изящному молодому брюнету с черной остроконечной бородкой.

Зал продолжает бушевать:

— Андреев!.. Браво, Андреев!.. Василий Васильевич, браво!.. Андреев!.. Андреев!..

Молодой брюнет, похожий на оперного Мефистофеля, одетый в безукоризненный фрак (он носил его с особой, чисто андреевской элегантностью, и художники, рисовавшие в газетах того времени дружеские

шаржи, изображали Андреева обязательно во фраке), раскланивается с публикой. Он становится за дирижерский пульт — стройный и тонкий, как единица, и поднимает обе руки красивым крылатым жестом.

Взмах его волшебной палочки — и концерт начался.

В программу андреевских концертов входили и русские народные песни, и самая сложная классика. С блеском подлинного тончайшего артистизма андреевские музыканты исполняли на балалайках всех видов, на домрах, гуслях, жалейках и на других великорусских народных инструментах полярные по своему характеру и тональности музыкальные произведения. Успех андреевских концертов всегда был феноменален.

Таким он был и в тот вечер. Помню, какой восторг вызвал у слушателей вальс,— удивительно мелодичный, страстный и нежный. Как и все слушатели, я изо всех сил тоже хлопал в ладоши, требуя бисирования этого номера.

Мама наклонилась ко мне и сказала с гордостью:

— Этот вальс сам Василий Васильевич сочинил!

После концерта мы пошли за кулисы. Отец, сияющий, радостный, подвел нас с братом к Андрееву. Василий Васильевич потрепал меня по щеке худой рукой с длинными породистыми пальцами, спросил, улыбаясь:

— Ну, Леня, скажи, на чем ты будешь играть, когда вырастешь?

Я ответил:

— На тромбоне!

Все вокруг засмеялись. Но я не хотел никого смешить, я сказал правду. У меня не было слуха, и все попытки отца приохотить меня к какому-либо музыкальному инструменту были безуспешны. Единственный инструмент, который мне нравился, был тромбон Петра Петровича Каркина, тоже андреевского музыканта, друга отца, усатого и весьма респектабельного старого холостяка, жившего у нас в доме и ставшего как бы членом нашей семьи. Финн по национальности (его настоящая фамилия была Коркияйнен), он отличался большим и своеобразным юмором. Он разрешал мне возиться с тромбоном, а чтобы я его не ронял на пол, привязывал тяжелый инструмент веревоч-

кой к стулу. Ценой больших порций слюны и заглотанного воздуха мне иногда удавалось извлечь из тромбона Петра Петровича на редкость противные звуки. Мне самому они нравились скорее не как звуки, а как плод усилий.

Оркестр В. В. Андреева состоял из профессиональных музыкантов (как, например, тот же П. П. Каркин, помню еще Ф. Ренике) и петербургских интеллигентов, для которых музыка была или второй профессией, или любимым занятием.

У Андреева в оркестре играли крупный столичный инженер В. Т. Насонов, адвокат, юрисконсульт многих торговых фирм П. О. Савельев, мой отец — врач С. Л. Попов, горный инженер Привалов и другие.

Отец встретился с Андреевым будучи еще студентом Военно-медицинской академии и стал одним из первых андреевцев.

Вместе с оркестром Андреева он побывал в Париже в 1900 году на Всемирной выставке, когда русский балалаечный оркестр впервые приобрел европейскую известность и поднялся на первую ступеньку трудной и высокой лестницы мировой музыкальной славы. У меня сохранилась бронзовая медаль в честь этого события, привезенная отцом из Парижа.

Вершины своего международного признания оркестр Андреева и сам Василий Васильевич достигли перед первой мировой войной, когда андреевцы побывали на гастролях в США. Русская балалайка тогда буквально свела с ума всю Америку. Концерты прославленного русского оркестра делали невиданные сборы. Газеты не скупились на похвалы самого высокого тона. Ловкие американские дельцы немедленно стали выпускать одеколон «Андреев» и подтяжки «Балалайка». Лишь балет нашего Большого театра, спустя много лет, имел в Америке успех такого же накала.

У матери Андреева Софьи Михайловны было небольшое имение Марьино в Вышневолоцком уезде бывшей Тверской губернии. Это исконно русские, поэтические, очень красивые места. Здесь проходят отроги валдайской возвышенности, среди дремучих прекрасных лесов разбросаны многочисленные синеокие озера. Шишкин и Левитан бывали тут, и не только бывали, но и писали этюды с натуры.

Именно В. В. Андреев «сосватал» здесь отцу дачу — старый, уютный помещичий дом. Владел им когда-то какой-то местный «господний раб и бригадир» помещик Пыжов, завещавший его своей любовнице, крепостной красавице, получившей по завещанию дом и вольную. Потомок этой красавицы, мещанин, отставной унтер-офицер гвардейского кирасирского полка Н. А. Назаров, в течение многих лет и сдавал внаем отцу на все лето этот дом, обставленный редкой по красоте павловской и елизаветинской мебелью красного дерева.

Дом Назарова был в Молдине — отсюда до дома Андреева в Марьине километра полтора-два, если не меньше. Когда Андреев приезжал на отдых в Марьино, он часто заходил к нам запросто, а нас с братом родители порой брали «в гости к Василию Васильевичу».

Софья Михайловна, его мать, была женщиной примечательной. Столбовая тверская дворянка, дочь героя Отечественной войны 1812 года, она была резка на язык, отличалась независимостью суждений (могла публично, на балу, так «отбрить» губернатора, что он не знал, куда деться), в семьдесят с лишним лет танцевала мазурку и ездила верхом, как гусар. Своего «Васеньку» она боготворила. Мы, дети, ее немножко побаивались, хотя она была с нами ласкова и мила, как добрая бабушка. Но, обращаясь к нам, она задавала вопросы по-французски и требовала, чтобы мы отвечали ей непременно тоже по-французски. Эта ее страсть превращала наше общение с Софьей Михайловной в некий экзамен. А какой же уважающий себя мальчик любит экзамены?! А Василий Васильевич говорил с нами только по-русски, да еще всегда весело, с шуточкой, с доброй подковыркой. Андреев был влюблен в Россию, в русский народ, в русское искусство. Он даже одевался летом в русский кафтан старинного покроя, накинутый на плечи, в русскую алую или белую рубаху с цветным шелковым пояском, в шаровары и высокие сапоги. В Марьинском парке он построил для себя, насколько я помню по рисунку Рериха, «Избушку на курьих ножках» — очаровательное бревенчатое гнездышко. В этой избушке он любил принимать своих гостей. Стульев не было —

полагалось сидеть на лавках. Но Андреев не был «квасным патриотом» и надутым поклонником стиля «рюс». Его «русский дух» был органичным и естественным выражением его влюбленности в Россию. Так же, как была органична и его глубокая народность. Это была та высокая и художественная народность, которая водила пером Пушкина, когда он писал «Сказку о царе Салтане», и напевала на ухо Римскому-Корсакову мелодии «Золотого петушка». Конечно, могучая стасовская пропаганда оказала на Андреева свое благотворное влияние. Он был национально самобытен в своем искусстве. Но ведь всякое настоящее искусство обязательно национально и обязательно народно!

Глубокая народность В. В. Андреева проявилась и в том, что он нашел С. И. Налимова — тверского «левшу», деревенского столяра — золотые руки, создавшего знаменитую андреевскую балалайку. Она же и привела бывшего «солиста его величества», светского баловня и замечательного музыканта в революционный стан в грозные годы гражданской войны. Народный музыкант Андреев в трудную, роковую для народа минуту был с народом. Как известно, он умер, смертельно простудившись во время поездки с оркестром на колчаковский фронт. Старый андреевец П. И. Алексеев вспоминает, что, когда больного Андреева в особом вагоне отправляли в Ленинград, туда была послана телеграмма, чтобы о болезни его дали знать доктору Попову, который «сделает все, что надо». Отправители этой телеграммы, увы, не знали, что самого доктора Попова в это время уже не было в живых. Отец мой умер от сыпного тифа в Ростове-на-Дону сорока трех лет от роду.

...Как-то я собрался и поехал в Брусовский район Калининской области — в места своего детства. Молдинский дом Назаровых, в котором мы жили, оказался целым и невредимым. Его занимает сейчас правление колхоза «Молдино». Это знаменитый колхоз-миллионер, его слава гремит далеко за пределами Калининской области. Я сидел у окна в нашей бывшей детской, смотрел на белую левитановскую дорогу среди желтых ржаных полей и слушал доклад председателя колхоза Петрова, здешнего уроженца, талантли-

вого колхозного организатора, бывшего офицера Советской Армии. Доклад был о преодолении пережитков прошлого в сознании людей, и это был хороший доклад. Но я сидел и думал не о том прошлом, которое нужно преодолевать, а о том, которым надо гордиться. Я думал об Андрееве.

В Краснодар приехал Маяковский!

Январь в 1926 году в Краснодаре был снежный, холодный, с мокрыми метелями и ледяными дождями, а пришел февраль и повел себя как веселый, добрый дворник: теплым ветром, словно ломом, расколол на куски глыбищи туч, «вымел все и вымыл», очистив небо от облачной грязи. На прямые краснодарские улицы сумасшедшими потоками света хлынула ранняя весна. И вот уже... «солнце жжет Краснодар, словно щек краснота. Красота!»

Мне было тогда двадцать с небольшим лет, я работал репортером в краснодарской газете «Красное знамя», а «для души» писал стихи, главным образом лирические. Воюя с местными рапповцами, я считал себя «лефовцем», хотя о программе «Лефа» имел самое смутное представление. Для меня было достаточно, что во главе «Лефа» стоит Маяковский, в поэзию которого я был по-мальчишески влюблен.

Днем я пришел в редакцию и узнал оглушившую меня новость: в Краснодар приезжает Маяковский! В редакции, оказывается, был его представитель, неизменный П. И. Лавут, и уже показывал афиши. Маяковский будет выступать два раза, надо срочно написать заметку — подготовить краснодарцев к выступлениям поэта.

Редакторы (и не только периферийные) относились в то время к Маяковскому по-разному. Далеко не все правильно понимали и оценивали творчество «агитатора-горлана-главаря». Ханжествующие начетчики и либеральствующие «поклонники прекрасного» травили его на страницах отдельных изданий расчет-

ливо, холодно и зло, попрекая пресловутым «ячеством» и забывая притом, что поэт, который не может сказать про себя «Я», — не поэт. Сам Маяковский, когда ему говорили про его «ячество», пожимал плечами и басил в ответ:

— Я же не Николай Второй. Это только он о себе говорил: «Мы, Николай Вторый...»

Наш редактор оказался человеком в этом вопросе «правильным», и моя заметка в пятьдесят строк, в которые я постарался влить все свое восхищение стихами и личностью поэта, была напечатана. Однако не всем нашим читателям она понравилась. На следующий день пришел в редакцию некий товарищ К-в, работник местного совета профсоюзов, пришел возмущаться и негодовать.

— Зачем вы делаете рекламу Маяковскому?! На каком основании? Кто позволил?!

Товарищ К-в сам считал себя поэтом и, давя на нашего редактора своим профсоюзным авторитетом, довольно часто печатал в газете — подвалами! — ужасные раешники, вполне стоеросовые по форме и содержанию. Иногда он появлялся на собраниях краснодарских рапповцев и, пользуясь каждым удобным и неудобным случаем, бранил Маяковского за «ячество», за «непонятность», за тысячи других выдуманных грехов. Он просто слышать не мог имени Маяковского! Когда он говорил о поэте, которого и в глаза не видел, его невзрачная, «акцизная» бороденка тряслась от злости.

Редактор «Красного знамени» проявил, однако, твердость духа, и злобствующий виршеплет ушел ни с чем.

Я позвонил в гостиницу, узнал, «в каком номере остановился у вас Владимир Маяковский», и вдвоем с товарищем по газетной работе отправился к поэту знакомиться.

Сердце у меня сильно билось, когда я постучал в дверь номера. «А вдруг не примет? Или скажет что-нибудь такое насмешливое? Про него ведь разное говорят!»

За дверью раздался неповторимо красивый, бархатный бас:

— Входите!

Мы вошли. Маяковский, только что, видимо, побрившийся, свежий, в «чисто вымытой сорочке» (в той самой, кроме которой «ничего не надо»), в темном, простом, но хорошо сшитом, просторном костюме, сидел у стола. На полу подле кровати стоял резиновый таз — ванна (привез из Америки), на столе — бутылка с нарзаном.

Мы представились. Я, робея, спросил, читал ли он заметку о себе в газете. Он сказал, что читал и «претензий к редакции не имеет». Поговорили о городе, о его литературной жизни. Потом, преодолев муки застенчивости, я положил перед ним на стол кипу своих стихов.

Он взял первое попавшееся и стал читать мое стихотворение вслух.

В исполнении Маяковского оно мне чрезвычайно понравилось. Я сидел, слушал и мысленно восхищался собой: «Неужели это я написал такие звучные, такие красивые стихи?!»

Речь в этом стихотворении шла о событиях 9 января 1905 года, и оно было напечатано в нашем «Красном знамени».

Маяковский дошел до строк:

Колебля пик нестройный частокол,
По трое в ряд проносятся драгуны...—

усмехнулся и прочитал лермонтовское:

Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнуло тут!..

Мое восхищение самим собой мгновенно увяло и «скукожилось».

Он тем не менее дочитал мои стихи до конца, положил газетную вырезку на стол и спросил очень серьезно:

— Зачем?!

— Что... «зачем», Владимир Владимирович?

— Зачем вы написали это стихотворение? Все, о чем здесь у вас говорится, читатели знают и без вас. Ну, пошли рабочие к царю, ну, царь встретил их свинцом. Ничего же нового вы не сказали? Если уж вы беретесь за историческую тему — надо или вытащить на свет новые интересные подробности, детали собы-

тия, о которых никто не знал, или повернуть тему под каким-нибудь острым углом. А иначе это... производство стертых пятаков!..

Потом мы долго гуляли с ним по городу. Он шел скорым, размашистым шагом, часто показывал тростью на здания, на пустые постаменты памятников бывшим царям и царицам, на красные трамвайные вагончики, спрашивал по-хозяйски придирчиво:

— Что раньше было в этом здании? Кому здесь стоял памятник? Когда сняли? С какого года в Краснодаре трамвай? Почему на улицах так много собак?

Если я не отвечал на его вопросы, он недовольно щурился:

— Как же так? Живете в этом городе и не знаете!..

Иногда, останавливаясь, он вытаскивал из кармана записную книжку и быстро что-то писал...

Вечером состоялось его первое выступление в зрительном зале кинотеатра «Гигант». Поэт читал американские стихи, «Демона и Тамару», парижский цикл и многое другое, рассказывал о своей заокеанской поездке. Успех был огромный. Молодежь, рабочие, студенты Краснодара приняли его восторженно. Впрочем, в начале вечера произошел один инцидент.

Товарищ К-в, профсоюзный пиит, конечно, не утерпел и тоже явился на вечер. Он сидел в первом ряду, не снимая шляпы, а когда Маяковский стал читать стихи, нарочитым жестом развернул газету и демонстративно уткнул острый бледный нос в газетный лист. Маяковский прервал чтение и, багровея от сдерживаемой ярости (он уже заметил его и понял, что это — враг!), громко сказал:

— Гражданин в шляпе, одно из двух: или мои стихи, или газеты!..

Пиит поднялся и молча направился к выходу.

— Куда вы? — громыхнул ему в спину Маяковский.

— Домой! — обернувшись, ответил К-в, вложив в это ехидное «домой» всю свою ненависть бездарности к таланту.

Поэт сказал:

— Торопитесь! У вас действительно не все дома!..

В следующем, 1927 году Маяковский снова при-

ехал в полюбившийся ему Краснодар с «разговором» — как он сам говорил — на тему «Поп или мастер?» и с новыми стихами.

Мы встретились как старые знакомые, и он первый спросил меня:

— Стихи пишете?..

Я подал ему целую тетрадь. Он взял и сказал:

— Прочту! Приходите на вечер, после выступления поговорим.

И тут же написал мне записку-пропуск: «Прошу пропустить. Вл. Маяковский». На этот раз он выступил в помещении Зимнего театра. Опять был полный, даже сверхполный сбор. Но публика пришла разная: от студентов-рабфаковцев до разряженных дамочек нэпманской закваски включительно. Эти пришли не послушать Маяковского, а поглазеть на него. Провинциальные эстеты из числа частно практикующих дантистов и венерологов, благообразные члены коллегии защитников разгуливали перед началом вечера по фойе и монотонно жужжали о том, что Маяковский «исписался» и что «до классиков ему далеко».

Маяковский выступал больным, с высокой температурой (простудился, читая стихи в ростовском железнодорожном депо), выглядел плохо: осунувшийся, с воспаленными глазами.

Встретили его хорошо, но, по-видимому, он почувствовал холодок и отчужденность части публики и держался колюче и настороже. Вскоре возникла перепалка между выступавшим поэтом и именно этой частью его аудитории.

Началось с того, что некий молодой человек в черной крашеной шинели до пят, местный поэт, писавший вялые, беспомощные стихи «под Есенина», стоя внизу, в оркестре, так что его круглая, скучная, стриженая голова находилась на одном уровне с ногами Маяковского, обутыми в добротные башмаки на толстенных подошвах, стал донимать поэта вопросами, упреками, из коих явствовало, что он, молодой человек, Есенина предпочитает Маяковскому.

Маяковский сказал:

— Есенин — это гитара. Ее взял под мышку и пошел с ней куда хочешь. А я — паровоз, меня в комнату не втащишь!

Молодой человек в перекрашенной шинели отпарировал не без ехидцы:

— А еще и скрипки имеются, товарищ Маяковский, и ба-ра-баны!..

— И шкафы бывают! — сказал Маяковский и, склонившись над своим оппонентом, огромный, нахмуренный, сердитый, прибавил: — Вот я читал ваши стихи. Вы стараетесь подражать Есенину, а ведь вы на самом деле помесь Бальмонта с крестьянкой!

Сидевший рядом со мной зубной врач-эстет выкрикнул:

— Не оскорбляйте человека!

— Я его не оскорбляю,— ответил Маяковский,— я, как рабочий на заводе, поднял щипцами болванку и рассматриваю ее!

В ложе кто-то взвизгнул тенорком:

— Я вот ваших стихов тоже... не понимаю.

Маяковский поднял голову, нашел взглядом крикуна, спокойно сказал:

— Ничего, дети ваши поймут!

— И дети не поймут!

— Ну, значит, в папашу пойдут: этакие молодые дубки!

Зал хохотал, свистел, аплодировал этой словесной дуэли одного со многими. Масло в огонь подлил студент Краснодарского пединститута, бледный юноша в клетчатой рубашке-ковбойке. Он поднялся со своего места и сказал Маяковскому:

— Я написал про вас стихи!

— Идите на сцену и читайте! — приказал поэт.

Юноша вышел и прочитал стихотворение, в котором Маяковскому досталось за то, что он в своей шуточной миниатюре о Краснодаре, пораженный обилием разной хорошей собачни на его улицах, написал: «Это не собачья глушь, а собачкина столица».

В Краснодаре действительно было тогда очень много собак. Жилось им привольно и сытно. Я до сих пор помню огромного сенбернара, принадлежавшего известному в городе врачу. Этот добродушнейший пес разгуливал по улицам города один, заходил в кондитерские и колбасные, где его охотно угощали, иногда появлялся в кинозале во время сеанса и шел по проходу между рядами, важный и сановитый, словно поч-

тенный, всеми уважаемый капельдинер. Казалось, что он сейчас начнет проверять у людей билеты.

Юноша из пединститута упрекал Маяковского — автора поэмы о Ленине, американских стихов, Маяковского-сатирика, Маяковского-трубадура Октября в отходе от боевых общественных тем. Это было неумно, грубо, а главное — несправедливо. Это было еще и очень обидно: ведь удар в спину был нанесен Маяковскому из лагеря молодежи!

Маяковский выслушал пасквиль молча. Лицо его искривилось от боли. Когда юноша кончил читать, в зале раздались аплодисменты. Маяковский шагнул вперед на авансцену, поднял руку и... Если бледный юноша из пединститута живет и здравствует поныне, он, наверно, до сих пор краснеет, вспоминая ту трепку, которую задал ему тогда Маяковский!

Маяковский говорил о трудовом подвиге поэта, о работе над словом, о политическом его долге и о его праве на шутку. Говорил он и о тех, что «сукинсынят из-за угла»! Юноша стоял опустив голову. На него было жалко смотреть.

Потом Маяковский начал читать стихи. Они падали лавиной со сцены, оглушая и будоража. Читал он в тот вечер необыкновенно прекрасно. Враги молчали, совершенно подавленные, друзья устроили поэту овацию.

Я зашел к нему за кулисы. Он сидел, усталый и совсем больной, отдал мне мою тетрадь и сказал:

— Извините, разговаривать не могу — заболел. Там у вас строчки есть хорошие...

И — наизусть! — вслух прочитал мои пять строк.

Я взял свою тетрадь и ушел от него предельно счастливый. Боже мой, Маяковскому понравились мои пять строчек! Вот эти строчки из стихотворения «Малярия»:

Я с гостьей болотной еще не привык
На горы взбираться и падать,
К гортани сухой прилипает язык,
И я молчалив, как копченый балык
В парламенте рыбного склада.

До рассвета я «шатался по городу и репетировал», обожженный его лаской, и повторял эти строчки, смущая своим бормотанием одиноких прохожих и

милиционеров. Тот, кто когда-нибудь писал стихи и любит Маяковского, поймет меня.

А потом увлечение стихами прошло у меня, как корь, не оставив заметных следов, другие литературные надежды и замыслы стали волновать меня... В 1930 году я работал фельетонистом в Ташкенте в газете «Правда Востока»... Однажды пришел в редакцию утром и, просматривая телеграммы ТАСС, прочитал скупые, жестокие строки: «Вчера, на своей квартире...» Острая боль ледяным обручем сжала сердце, и я увидел поэта, ставшего мне вдруг бесконечно близким, как живого, таким, каким запомнил его по краснодарским встречам: высокий, ладно скроенный человечище с резким профилем, в оливкового цвета короткой куртке с серым каракулевым воротником размашисто шагает по солнечной улице веселого южного города упругим, бодрым шагом хозяина новой жизни.

Мой редактор Кольцов

Я познакомился с Кольцовым в 1930 году в Ташкенте. Пришел как-то летним утром в редакцию «Правды Востока», где работал фельетонистом, и вдруг узнал, что наши самолеты, совершающие Большой Восточный перелет, возвращаются в Москву и сделают посадку на ташкентском аэродроме. На одном из самолетов бортрадистом летит Михаил Кольцов, надо немедленно ехать на аэродром.

Мне дали редакционную машину, и мы помчались, волоча за собой белый плотный шлейф лёссовой пыли — асфальт тогда покрывал лишь немногие улицы огромного яркого города.

Вместе со мной поехали встречать Кольцова милый Володя Михайлов, король ташкентских репортеров, и редакционный фотограф. Мы прикатили вовремя. Самолеты должны были показаться в небе с минуты на минуту.

Летное поле дышало тяжелым азиатским зноем. Резкий солнечный свет слепил глаза. Я волновался в

ожидании встречи с Кольцовым. Волнение мое станет понятным, если сказать, что было мне тогда двадцать четыре года и что искусству газетного фельетона я учился во многом у Михаила Кольцова, считая фельетон единственно созвучным нашей революционной эпохе видом художественной литературы. «Фельетонист — это писатель в газете», — утверждал Кольцов, и я готов был обеими руками подписаться под этой формулой.

Наконец на бледной лазури неба появились черные, быстро растущие точки приближающихся самолетиков. Вместе со всеми встречающими мы пошли по полю. И вдруг нас остановил некий важный товарищ:

— Кто вы такие?

Я сказал, что мы из «Правды Востока».

Бросив строгий орлиный взгляд на нашего скромного фотографа, на его не шибко свежие полотняные штаны и на запыленные сандалии на босых ногах, тоже не самой девственной чистоты (под этим строгим взглядом бедняга фотограф сжался в комочек), важный товарищ коротко приказал:

— Самолеты — не снимать! И на фоне самолетов тоже никого не снимать!

— Почему? — удивился я.

Он перевел свои орлиные очи на меня, пожал плечами:

— Неужели надо объяснять? Вы что — хотите на весь мир обнародовать наши авиационные секреты?

И, не ожидая возражений, зашагал по полю — квадратный, сапогастый, непреклонный.

Распоряжение его было, мягко выражаясь, странным: ведь самолеты возвращались из дальнего зарубежного перелета, и все газеты мира уже напечатали снимки наших храбрых машин, побывавших и в Турции и в Иране. Какие секреты имел в виду сверхбдительный товарищ, понять было нельзя! Впрочем, и спорить с ним тоже было нельзя, потому что, когда человеку, имеющему право распоряжаться, хочется это делать — тут уж не до споров.

Про себя я решил рассказать о случившемся Кольцову и ускорил шаги: самолетики уже шли на посадку.

Внешний облик Кольцова удивительно гармонировал с его обликом творческим.

Он был низкого роста, с маленькой ладной фигурой, с хорошо пригнанными руками и ногами. Черты лица красивые, правильные, в особенности красив был у него рот — женственный, свежий, улыбчивый.

Общую интеллигентность его лица усиливали крупные черепаховые очки — они делали Михаила Ефимовича похожим на Гарольда Ллойда, знаменитого киноартиста. Он был быстр, энергичен и непринужденно-изящен в каждом движении и в каждом слове. А разве такой же интеллектуальной энергией и изяществом не отличались и его фельетоны-новеллы?!

Кольцов вышел из машины и с нескрываемым удовольствием сдернул с головы летный шлем. На нем была надета черная кожаная короткая куртка, черные брюки. Он улыбался и казался веселым и бодрым, но покрасневшие веки и густые тени под глазами выдавали его усталость от трудного и по тем временам рискованного перелета.

Я подошел к Кольцову и назвал себя. Он пожал мою руку своей маленькой сильной рукой, сказал улыбаясь, пародируя газетный пышный слог:

— На аэродроме участников перелета встречали представители местной прессы!

Завязался шутливый разговор, но уже начинался — тут же у самолетов — импровизированный митинг, и разговор наш оборвался.

Первым на митинге выступал важный товарищ с орлиным взглядом. Говорил он напыщенно и нудно и, начав с традиционного посыла: «Позвольте мне от имени...», стал долго и подробно перечислять все организации, от имени которых он вышел приветствовать нетерпеливо переступавших с ноги на ногу, но тем не менее вежливо слушавших его летчиков, явно мечтавших походить по теплой земле, покурить, выпить холодного нарзану, съесть по кусочку дыни.

Кольцов не выдержал и, наклонившись к моему уху, прошептал:

— Оратор забыл еще упомянуть про промысловую кооперацию!..

...Речи произнесены, папиросы выкурены, нарзан выпит. О запрещении фотографировать самолеты я Кольцову так и не сказал — забыл!

Раздается команда «По машинам!» — и вот уже

мы стоим и, задрав головы к небу, смотрим, как лихо набирают высоту смелые советские «птички». На одной из них улетает в Москву фельетонист «Правды», писатель, редактор «Чудака» — журнала, в котором недавно был напечатан мой фельетон из Ташкента. Неужели я только что стоял рядом с ним, разговаривал?! С «тем самым Кольцовым»? С «самим Кольцовым»?

Тогда мне думалось, что эта встреча так и останется мимолетным эпизодом моей биографии, но жизнь распорядилась иначе. Через три года я переехал в Москву, работая разъездным корреспондентом центральной отраслевой газеты «Водный транспорт» — одной из газет, возникших «на костях «Рабочей газеты».

Одновременно я печатался в московских журналах, и в частности в «Крокодиле», где помещал первые свои сатирические очерки и юмористические рассказы.

В 1934 году, когда «Правда» взяла «Крокодил» под свое крыло и редактором журнала вместо М. Э. Мануильского был назначен Михаил Кольцов, я стал постоянным сотрудником «Крокодила». Пригласил меня Кольцов. Так блистательный и далекий Мих. Кольцов — «тот самый Кольцов» — стал для меня близким, дорогим мне человеком Михаилом Ефимовичем, замечательным редактором, к которому можно было запросто заглянуть в его рабочий кабинет в «Правде», поговорить о рукописи, пошутить, обратиться с какой-нибудь просьбой. Кольцов любил повторять остроту В. П. Катаева: «Русские писатели обожают, когда их отрывают от работы!»

Михаил Ефимович был замечательным редактором, потому что он умел заряжать своей веселой энергией людей, с которыми работал. Как интересно было присутствовать на «темных» совещаниях «Крокодила», когда их проводил Кольцов. Как заразительно он смеялся удачным остротам и точным темам для карикатур, как тактично и необидно для авторов предложений пресных и скучных он отшучивался от них.

Он подхватывал, что называется, «на лету» чужую инициативу, всегда поддерживал и поощрял ее, сам, неистощимый выдумщик, щедро одаривал ею нас, тогдашних сотрудников «Крокодила». Предложит острую, интересную тему, направит мысль в нужное русло, посмотрит на сидящих за столом и, улыбаясь, скажет:

«Я вижу, что это мог бы сделать Ардов», или: «Кажется, это вдохновляет Ленча». И если уж мы брались за тему, предложенную Кольцовым,— мы вкладывали в работу все силы!

Он редко сам правил рукопись. Он или возвращал ее на переработку с точным и всегда предельно ясным указанием, что, по его мнению, надлежит переработать, или «вытаптывал» (этот глагол имел тогда хождение среди «крокодильцев») неудачное произведение целиком. Он был замечательным организатором, и его организаторская хватка проявлялась в умении подбирать людей в тот или иной журнальный аппарат, который ему приходилось возглавлять. Как правило, все это были превосходные люди, неутомимые, преданные своему делу (и Кольцову, конечно, потому что дело это и был Кольцов!) аппаратные редакционные работники.

В «Крокодиле» таким человеком была Л. С. Браиловская, заведующая редакцией. Во-первых, она обладала хорошим литературным вкусом, во-вторых — редким дипломатическим тактом, необходимым для общения с придирчивой и сложной бухгалтерией «Правды», в-третьих — ровным, спокойным характером и сердечностью. Она была добра и благожелательна. Для крокодильской вольницы — для нас, молодых литераторов и художников,— она была милым гибридом доброй тетушки с ангелом-хранителем. В своей неизменной бежевой шерстяной кофточке, из-под которой выступал белоснежный воротничок блузки, с простой гребенкой в зачесанных назад жидких волосах, она была похожа не то на скромную школьную учительницу, не то на женотдельщицу первых лет революции.

Л. С. Браиловская относила Кольцову на подпись готовые гранки очередного номера журнала. Сидишь, бывало, и ждешь с адским нетерпением ее возвращения. И вот — появляется! Если Любовь Соломоновна сияет и цветет как маков цвет, значит, все в порядке. И даже спрашивать незачем про свою гранку. Но бывало и так, что Любовь Соломоновна возвращалась хмурая, расстроенная, с пылающими кончиками ушей. Проходила прямо к своему столу, садилась и, не глядя на окружающих, принималась шелестеть гранками.

Подойдешь к ее столу, спросишь вроде как бы безразлично:

— Неужели «вытоптал», Любовь Соломоновна?

— «Вытоптал»!

— Просто так взял и «вытоптал»?!

— Просто взял и «вытоптал»!

— Ну хоть что-нибудь он сказал, когда «вытаптывал»?!

Любовь Соломоновна смотрит на меня добрыми «тетушкиными» глазами:

— Михаил Ефимович сказал: «Пусть он сядет в сторонку и внимательно два раза подряд прочтет свое произведение».

Беру гранку, сажусь в сторонку, внимательно читаю свое произведение четыре раза подряд. Все в нем мне нравится! Я бы лично никогда такое не «вытаптывал»! И лишь дома, прочитав свой рассказ или фельетон еще несколько раз, я обычно приходил к выводу, что, «вытаптывая» гранку, Кольцов был прав. Так он заставлял молодых сатириков и юмористов самостоятельно осознавать сущность своих авторских ошибок.

В 1938 году Гослитиздат выпустил первую книжку моих рассказов. Естественно, я решил подарить ее Кольцову. Я сделал надпись на титульном листе и пошел в «Правду» к Кольцову. Он был, как всегда, занят, что-то писал в номер, но принял меня сразу же — ведь «русские писатели обожают, когда их отрывают от работы». Взял книжку, повертел ее, маленькую, в зеленом переплете с забавным шаржем на меня, нарисованным Константином Ротовым (книжка называлась «Знакомое лицо»), сказал задумчиво:

— Вот и книжка у вас уже появилась. Как дьявольски быстро время скачет!

Улыбнулся и прибавил:

— Это знаете, как с сыном. Недавно еще бегал этакий маленький карапузик, а потом, смотришь, он уже подросток с ломающимся голосом — пускает «петуха» и тащит у вас папиросы из стола. И когда все это с ним случилось, понять невозможно!

Кольцов был не только прост и доброжелателен к людям, с которыми работал. Он и защищал их, когда это было нужно.

В апреле 1937 года на меня свалилась большая беда: в Ростове-на-Дону был арестован и объявлен врагом народа мой родной брат Д. С. Попов, талантливый экономист, госплановец, глубокий знаток экономики Северного Кавказа. Сейчас он реабилитирован посмертно.

Я пришел в «Крокодил» и рассказал обо всем Л. С. Браиловской. Глаза ее стали влажными, мочки ушей налились малиновым огоньком.

— Напишите Михаилу Ефимовичу заявление о том, что у вас арестован брат. Я отнесу ему — он здесь, в «Правде».

Она дала мне свою авторучку, придвинула стопку бумаги — больше похожая сейчас на воинственного ангела-хранителя, чем на добрую тетушку.

— Ну, пишите скорей!

Я написал заявление и отдал его Браиловской.

Через полчаса она вернулась, сияющая.

— Михаил Ефимович прочитал ваше заявление и сказал: «Не может же Ленч, живя в Москве, отвечать за брата, живущего в Ростове! Пусть работает спокойно!»

Я и работал, стараясь оставаться спокойным, до тех пор, пока сам Михаил Ефимович был в Москве. Но как только мой защитник уехал в Испанию, меня вызвал к себе работник журнала, временно исполнявший обязанности редактора, и, пряча от меня глаза, сообщил, что «решено вывести вас, Леонид Сергеевич, из штата «Крокодила»— по мотивам вам известным».

— Печатать вас, впрочем, мы будем! — сказал он мне в утешение.

В декабре 1938 года был я в Клубе писателей на улице Воровского на очередном субботнем вечере. Играл оркестр, за столиками ужинали известные, малоизвестные и вовсе неизвестные литераторы. Танцующие пары более или менее изящно скользили по паркету. Вечер явно удался. Я сидел за столом с М. Е. Кольцовым и В. П. Катаевым. Вместе с Кольцовым пришла его знакомая Хулита, испанка, преподавательница испанского языка, бежавшая в Советский Союз от франкистской охранки. Это была высокая, гибкая, черноволосая молодая женщина с боль-

шими грустными глазами на матово-бледном лице, с гладкой прической.

Казалось бы, все у Кольцова было в полном порядке: его «Испанский дневник» своей художественной силой и публицистическим темпераментом покорил самых придирчивых и взыскательных читателей, да и общественное положение его еще более укрепилось — его выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР и избрали в члены-корреспонденты Академии наук по отделению литературы. Но он сидел за столом молчаливый, сосредоточенный, ушедший в себя и почти не реагировал на наши шутки. Наверное, его томило недоброе предчувствие.

За сорок лет своей работы в советской печати знавал я всяких редакторов. Среди них было немало отличных людей, расположением которых я дорожил и дорожу. Но редактор Михаил Кольцов занимает и в этом ряду особое место. Когда на литературных вечерах мне приходится отвечать на вопросы биографического порядка, слова: «Моим редактором был Михаил Кольцов» я произношу с гордостью.

Батько Остап

Четыре встречи

Первая...

Так сложилась моя жизнь, что еще подростком, воспитанником одной из самых чопорных столичных гимназий — 3-й петроградской, летом 1917 года я оказался с семьей на Кубани.

Просторные кубанские приволья, знойные краски юга, общительность, юмор, сердечность и природная живость южан понравились мне.

Образ родного города с его державными гранитами, белыми ночами и призрачными туманами довольно быстро потускнел в моем детском сердце.

Повзрослев, я стал считать себя южанином — если не по рождению, то по духу.

Понравился мне и язык Кубани — его украинская, какая-то лирическая певучесть: «Коханочка моя!»,

«Серденько мое...». «Кубанская мова» — язык кубанских казаков-черноморцев, прямых потомков запорожцев, переселенных сюда указом императрицы Екатерины II, несомненно ближе к украинскому, чем к русскому. И даже в речи линейных казаков-кубанцев, жителей предгорий, соседей терцев, и то встречаются украинизмы...

Понемногу я стал постигать «кубанскую мову», а потом даже и «балакал» на ней — не очень бойко и очень неправильно, но все же «балакал». Помогло мне в этом отношении то, что в двадцатые годы начинающим фельетонистом краснодарской газеты «Красное знамя» я много разъезжал по станицам Кубани, слушал выступления ораторов-хлеборобов, их ядовитые словесные перепалки на станичных собраниях, а разговаривая со станичниками по газетным делам, старался как-то приспособить свою речь к их манере говорить, чтобы быть лучше понятым.

Однажды я остановился на ночлег в одной из станиц, уж не помню, в какой, вблизи Новороссийска, в доме пожилого учителя местной школы, и обратил внимание на то, что хозяин дома, кроме «Правды» и «Красного знамени», выписывает еще и харьковскую газету на украинском языке.

Заметив мой любопытствующий взгляд, он сказал:

— Здесь же Остап Вишня печатается!

— А кто это — Остап Вишня? — спросил я.

Учитель посмотрел на меня осуждающе и пробурчал, что молодому сатирику стыдно не знать Остапа Вишню, фельетоны которого «пронизает золотая жила народного гумора».

Он принес мне на ночь кипу газет и свечку — электричество почему-то в ту ночь не горело в станице — и ушел, бросив, все еще недовольный и сердитый:

— Ось, почитайте, може, не все поймете, но хоть дух уловите.

Я читал «гуморески» и фельетоны Вишни один за другим, пока не догорела свечка, наслаждаясь золотым сверканием чистого народного «гумора» и его удивительной музыкальностью. Даже для меня, знавшего украинский язык поверхностно, чуть-чуть, эти сатирические миниатюры звучали как маленькие сти-

хотворения в прозе, поражая своей внутренней ритмичностью, своей языковой пластикой.

Построение многих фельетонов было, пожалуй, даже каноническим, видно было, что автор хорошо знает приемы и Чехова, и сатириконцев, и Марка Твена, и Джерома, но все же интонационный строй, характер юмора — лукавого, убийственно меткого — был свой, национальный, глубоко народный и самобытный.

Я читал Вишню и вспоминал дедов-станичников, их рассказы, их словечки и усмешки.

Потом мне попалась в руки маленькая синяя книжечка рассказов и фельетонов Остапа Вишни, переведенных на русский язык, изданная в Ленинграде — приложением к журналу «Бегемот». На обложке был напечатан портрет автора, нарисованный художником Сварогом, и мне понравилось нервное, молодое интеллигентное лицо украинского сатирика.

Я увлекался тогда изящными по форме фельетонами Михаила Кольцова, начиненными гремучей смесью его тонкой иронии, ценил беллетристическую основательность Александра Зорича. Теперь рядом с Кольцовым и Зоричем прочно встал Остап Вишня.

Всех троих роднило в моем представлении то, что это были большие писатели, отдавшие свой талант газете и фельетону как самому боевому и вместе с тем из всех видов газетного творчества самому художественному в то время жанру.

Вторая...

В 1948 году «Крокодил» созвал Первое Всесоюзное совещание писателей-сатириков, юмористов и фельетонистов местных газет.

Совещание открылось в Центральном Доме журналиста. Атмосфера была приподнятая, даже торжественная. Еще бы — Первое Всесоюзное совещание советских сатириков!

Я знал, что Остап Вишня входит в состав украинской сатирической делегации — весьма представительной и обширной, возглавляемой Ф. Ю. Макивчуком, редактором «Перца». Мне очень хотелось познакомиться с Вишней, но ни в президиуме, ни в зале я его не увидел. Знакомые сатирики-украинцы на мой воп-

рос: «Где же Остап Вишня?» — отвечали хмуро, уклончиво и невнятно. Тогда я обратился с тем же вопросом к редактору «Крокодила» Беляеву. Он покраснел, смутился, потом просительно взял меня за пуговицу пиджака и сказал:

— Понимаете... произошла неприятная накладка.... Его случайно не ввели в президиум, он обиделся и совсем не явился... Я вас очень прошу, Леонид Сергеевич, возьмите машину, поезжайте с кем-нибудь из украинцев к нему в гостиницу и уговорите его приехать. Нельзя же допустить, чтобы совещание сатириков происходило без Остапа Вишни, когда все знают, что Вишня — в Москве!

Я понял, что «накладка» была не случайной, а кто-то решил, видимо, проявить «осмотрительность», и Остапа Вишню, учитывая, что он в прошлом репрессированный, при формировании президиума «забыли» или «нечаянно» пропустили. Павло Михайлович (так звали Остапа Вишню), естественно, оскорбился: он-то знал истинную причину этой забывчивости. Не писательское дутое тщеславие, а повышенная ранимость души человека заставила его не явиться на открытие совещания сатириков.

Я согласился выполнить довольно щекотливую дипломатическую миссию, возложенную на меня Д. Г. Беляевым, и вместе с П. А. Лубенским, сотрудником «Перца», поехал в гостиницу «Европа».

Мы вошли в большой номер, где стояло шесть кроватей,— украинская делегация жила братским общежитием. Павло Михайлович, аккуратно подстелив под ноги газету, одетый, лежал на кровати подле окна.

Он поднялся, когда мы вошли, и я увидел перед собой не молодого интеллигента с нервным лицом с портрета Сварога, а румяного, с умным прищуром добрых улыбающихся глаз, как на Украине говорят, «дідусю», но безбородого, со спутанными от лежания редкими волосами на большой высоколобой голове.

Я назвал себя и, волнуясь, сказал, как давно знаю его и как давно люблю.

— Так и я же ж вас люблю! — просто ответил он и протянул ко мне обе руки.

Мы расцеловались, и мне сразу стало легко и хорошо с ним, и я без всякой дипломатии сказал Пав-

ло Михайловичу, что приехал за ним, потому что вся сатирическая громада волнуется и не желает совещаться без «батки Остапа».

Он хитренько улыбнулся, довольный, и сказал так же просто:

— Умоюсь, и зараз пойдем!..

Когда Остап Вишня, в синем, хорошо сшитом костюме, нарядный, в белой сорочке, державшийся не по-стариковски прямо, появился в президиуме совещания, в зале Дома журналиста грянули и долго не умолкали дружные аплодисменты.

Сатирическая «громада» приветствовала писателя, подчеркивая этими аплодисментами и свое уважение к нему, и свою любовь к его творчеству, и свое понимание его трудной судьбы.

Потом, уже после совещания, Павло Михайлович выступал в клубе писателей, читал свою знаменитую «Зенитку». За товарищеским писательским ужином мы сидели рядом, о многом хорошо переговорили и расстались друзьями...

Однажды мне позвонил из редакции «Известий» В. В. Полторацкий, редактор отдела литературы и искусства газеты, и спросил, не возьму ли я на себя «труд» написать для «Известий» о Вишне.

Я ответил, что писать о Вишне для меня не труд, а удовольствие.

— Вот и хорошо! — сказал Виктор Васильевич.— Пишите, быстро дадим!

Статья моя действительно очень быстро была опубликована. Павло Михайлович был доволен тем, как я о нем написал. Об этом он сказал при нашей встрече в Киеве. Но это уже была наша третья встреча.

Третья...

Весна 1954 года, когда страна отмечала трехсотлетие воссоединения Украины с Россией, была холодной и ветреной. Давно пора было каштанам на бульварах Киева зажечь свои весенние огни, но деревья лишь тревожно шумели листвой на северном ветру и расцветать не собирались.

Мы, русские писатели, приехавшие в Киев из Москвы на юбилейные торжества, были обескураже-

ны: так хотелось после своей московской, как назвал ее Ильф, «ледяной, красноносой» весны попасть в южное доброе тепло, и — на тебе! — вместо тепла пронизывающий ветер и рысистые тучи на небе.

И вдруг за одну ночь все волшебно изменилось: сломался ветер, очистилось небо, синева его упала в Днепр, и он, казалось, проголубел до самого дна. Солнце стало припекать, и каштаны сразу ответили на щедрую солнечную ласку таким же щедрым цветением.

Утром такого вот прелестного солнечного дня Павло Михайлович заехал за мной в гостиницу на своем, как он говорил, «драндулете» и повез нас с женой смотреть Киев.

Мы долго колесили по городу, полюбовались новым Крещатиком и его домами, украшенными национальным орнаментом, и в конце концов оказались на Владимирской горке.

Много раз я бывал тут весной, и всякий раз красота этого древнего места поражает меня так, как будто впервые я вижу Днепр внизу — синий, как очи красавицы дивчины, и сбегающие к нему цветущие бело-розовые сады, и вдали великую равнину Заднепровья, окутанную лиловатой нежной дымкой. Мы сидели на скамеечке, смотрели вниз и молчали. А затем как-то неожиданно и возник тот разговор, вернее, рассказ Павло Михайловича.

Рассказывал он и о вызове в Москву, в дни войны, о, как говорил Павло Михайлович, боевом задании, которое там получил.

— ...Я вошел и оказался в большом кабинете. За письменным столом сидит кто-то в военной форме. Генеральские лампасы, роговые очки на коротком носу, лицо бледное, усталое.

— Здравствуйте, Павел Михайлович! — говорит генерал и протягивает мне руку.— Прошу садиться.

Генерал начал без предисловий:

— Павел Михайлович, вы знаете, что жестокий и коварный враг напал на советскую землю. Украина в крови и огне. Каждый штык и каждое перо на жестком учете. А вы — Остап Вишня! — оказались в такое время не у дел! Не будем сейчас считаться, кто в этом повинен. Хочу вас прямо спросить и прошу так же

прямо, по совести, ответить: вы можете забыть все обиды и войти в наш строй борцов с немецким фашизмом, чтобы драться вместе с нами за Родину до конца, до победы?

Я сказал, что родина моя — Советская Украина и что мой долг сражаться за нее с врагом любым оружием.

— Я другого ответа от вас и не ждал! — сказал генерал.— Отдохните, наберитесь сил и начинайте действовать своим оружием — острым пером сатирика. Желаю успеха.

И вот пошел я пешочком по солнечной милой зимней Москве. Пришел в гостиницу «Москва». «Рыльский Максим Тадеевич у вас живет?» — «У нас». Поднимаюсь на этаж, коридорная говорит, что Рыльский куда-то ушел. Прошу ее пустить меня в его номер, говорю, что я его старый знакомый. И вдруг вижу: по лестнице поднимается сам Максим Тадеевич...

Павло Михайлович вспомнил, как поехал в маленький городок Рязанской области Раненбург, где находилась тогда его жена — видная, талантливая артистка украинского театра Варвара Алексеевна Маслюченко. Там, в Раненбурге, супруги и встретили Новый, 1944 год, наварив вдоволь картошки и выпив по рюмке «тархуна» — знаменитой военной водки, подозрительно зеленой от пахучей травки тархун, которую ликеро-водочные заводы клали тогда в водку «для запаха».

В Раненбурге Павло Михайлович слег. Именно там полубольной Вишня и написал свою знаменитую «Зенитку» — военный антифашистский сатирический рассказ о том, как расправлялся с оккупантами его любимый герой дед Свирид. Легко и просто вошел в строй действующих литературных сил старый, но не сломленный сатирический воин. Один за другим засверкали на страницах газет и журналов его боевые «гуморески» и фельетоны.

...Третью сигарету закуривает Павло Михайлович, рассказывая нам обо всем этом, сидя на скамеечке на Владимирской горке! Пальцы его, держащие зажженную спичку, чуть дрожат.

— В Киев вернулся под Первое мая тысяча девятьсот сорок четвертого года. И радостно, и больно

на сердце... Развалины и развалины! Помню, дали нам с Варварой Алексеевной квартиру о двух комнатах. Пришли мы туда, я — в полушубке армейском, овчинном, она — в стареньком пальтишке. Ни ложки, ни плошки!.. Топчана и того нет!.. Стоим, смотрим друг на друга и не знаем, что делать. Вдруг звонок. Является Петрицкий-художник, старый дружок. «Чего зажурились?» — «Да вот не знаем, с чего надо новую жизнь начинать».— «Для начала треба полы вымыть!» Разделся наш художник, закатал штаны до колен, засучил рукава до локтя. «Тряпка-то хоть е?» — «Тряпка е!» Взял тряпку и пошел шуровать!

Павло Михайлович помолчал, показал глазами на цветущие сады:

— Смотрите, красота какая кругом!.. Ничего, наладилась жизнь! А то ли еще будет! Только бы здоровье не подвело!..

Сказал и побледнел, стал кривиться от боли, губы посинели, руки шарили по карманам, искали валидол. Мы с женой тревожно переглянулись.

— Приступ,— с трудом сказал Павло Михайлович,— ничего, сейчас отпустит... не беспокойтесь!

Посидел, подышал и снова заговорил — о красоте цветущих киевских садов. В первую свою весну и в первое лето здесь, в Киеве, он покупал на базаре цветы огромными охапками и приносил домой. Варвара Алексеевна ставила их в обгорелые кастрюли и в снарядные гильзы, от которых еще пахло порохом,— ваз не было, кастрюли и гильзы находила она в развалинах дома напротив.

Вечером мы были у него в гостях, в его новой просторной квартире в доме писателей. Пришли Юрий Лаптев, Степан Олейник, Федор Макивчук. Павел Михайлович был весел, шутил, рассказывал охотничьи и рыболовные байки. Варвара Алексеевна — великая хлебосолка — угощала потрясающими карасями, зажаренными в масле до сухарного хруста и запеченными в сметане. Кто-то, кажется Лаптев, спросил хозяина дома:

— Карасей сами добыли, Павло Михайлович?

— Эге ж, сам!

— Хороший клев был?

— Отличный!

Федор Макивчук — тоже завзятый рыбак — с нескрываемой завистью спросил:

— Это где ж они так клевали у вас, Павло Михайлович?

— На базаре! — сказал Остап Вишня.

Четвертая...

В последний год его мучила старая язва, были сильные кровотечения. Но потом он поправился, окреп и стал чувствовать себя хорошо. Много работал в «Перце», занимался переводами. Даже на охоту поехал в далекий дом отдыха рыболовов и охотников. Поездка оказалась трудной, утомительной.

Вернувшись домой с охоты, отдохнув, он сел вечером в кресло перед телевизором посмотреть передачу. Сидел, смотрел и вдруг почувствовал себя плохо. Встал, пошел за лекарством, и через десять минут его не стало. Паралич сердца! В народе про такую смерть говорят — смерть праведников.

Я, по поручению Союза писателей СССР, вылетел в Киев на его похороны.

Он лежал в гробу очень спокойный, с еле заметной усмешкой на губах, и в покое его лица и тела не было всегда ужасающей живых непостижимой смертной неподвижности. Казалось, что человек просто устал и прилег.

Несколько часов длилось прощание с прахом Остапа Вишни. Народ шел и шел. Шли простые люди, молодые и пожилые, дети и старики, шли читатели Остапа Вишни. Слезы катились по их щекам, когда они проходили мимо его гроба, когда клали свои скромные букетики к его подножию, и эти слезы были последней данью их читательской признательности великому народному мастеру улыбки и смеха.

Когда печальный кортеж двинулся на кладбище, уличное движение в центре Киева пришлось остановить.

На кладбище состоялась гражданская панихида.

Я вышел на трибуну, увидел многотысячную толпу людей, их скорбные лица и заплаканные глаза и лишь огромным напряжением всех своих внутренних сил преодолел судорогу, сдавившую мое горло и мешавшую мне говорить.

Я сказал то, что думал об этом удивительном человеке и писателе, и земно поклонился его открытому гробу.

— Прощай, батько Остап!

Встречи с Зощенко

I

Сначала он был для меня просто писателем Михаилом Зощенко, автором знаменитой «Аристократки» и других шедевров комической прозы.

Я любил его рассказы. И не выносил изделий его многочисленных подражателей, среди которых, впрочем, бывали большие искусники. О, как ловко они рядились в его словечки, с какой спекулятивной развязностью напяливали на свои туши его тонкую самобытную манеру письма! Жаргонная грубость, которая у Зощенко была естественной особенностью языка его героя-рассказчика и, как правило, в лучших вещах не выпирала наружу, у них превращалась в самоцель. Зощенко пользовался жаргоном как средством обличения мещанского свинства и пошлости, они — на потребу тому же мещанству, сумевшему уцелеть во всех социальных бурях эпохи.

Потом он стал для меня Михаилом Михайловичем. Это произошло, когда мы познакомились, в середине тридцатых годов. Знакомство состоялось в редакции «Крокодила», редактором которого тогда был Михаил Кольцов. В редакции стали появляться тогда интересные люди из «большой жизни» — знаменитые стахановцы, пограничники, партийные работники. Потянулись на кольцовский огонек и писатели. Заходили Демьян Бедный и Алексей Толстой — оба массивные, шумные, с палками, стали бывать сдержанный, суховато-печальный Илья Ильф и размашистый, веселый Евгений Петров. Влетал остривший на лету Валентин Катаев. Частым гостем редакции был Виктор Финк — автор «Иностранного легиона», изредка приезжал из Ленинграда и Михаил Зощенко. В один

из его приездов, в сутолоке очередного редакционного совещания (на крокодильском языке это называлось «свистать всех наверх») я, тогда еще только вылупившийся из скорлупы провинциальной застенчивости, начинающий юморист, и был ему представлен. Какой он был? Первое мое впечатление: хрупкий, изящный, невысокий, ладненький, черноволосый, с болезненным цветом лица, но не бледным, а желтовато-смуглым, с красивыми глазами, карими, женственными — украинская кровь! — и под глазами густая темная тень. Не то от усталости, не то от болезни сердца, которую он вынес из окопов первой мировой войны, когда был отравлен немецкими газами.

Понравилась мне его манера говорить, чуть растягивая гласные, понравился глуховатый тембр голоса.

Ко мне он отнесся ласково, и именно это доброе отношение Михаила Михайловича и позволило мне обратиться к нему в 1938 году с просьбой дать мне рекомендацию в Союз писателей. Одну рекомендацию уже дал мне Евгений Петров, но нужны были две. Михаил Михайлович откликнулся на мою просьбу письмом. Оно у меня сохранилось, и я приведу из него два отрывка:

«Дорогой тов. Ленч!

Я получил Ваше письмо. В ближайшее время я пошлю в Президиум Союза свои принципиальные соображения о жанре комического рассказа (и о Вас). Было бы нелепо не признавать этот жанр. Если же этот жанр будет «признан», то нет основания Вас не принимать в Союз. Постараюсь это сделать убедительно».

И дальше:

«Уверяю Вас, что меня не признавали лет десять. И перечисляя писателей — не упоминали моего имени. Я на это реагировал тем, что ушел в тонкий журнал и там утвердил то, что казалось сомнительным.

Сейчас иные времена. И сейчас необходимо перед Союзом поставить вопрос о «признании» жанра юмористического рассказа. Тем более что юмористическая литература почти всегда массовая. И повторяю — глупо Союзу от нее открещиваться.

Итак, на днях пошлю в Союз письмо.
Шлю привет.

М. Зощенко.

17.XII.38 г.
Уверен, что все обойдется хорошо».

Все действительно «обошлось хорошо». В 1939 году я был принят в Союз писателей.

II

Мишей Михаил Михайлович стал для меня значительно позже. Дружескому нашему сближению способствовало то обстоятельство, что моя жена Лиля Борисовна Островская, ныне покойная, знала М. М. Зощенко еще по Ленинграду, и они были большими друзьями. Приезжая в Москву, Михаил Михайлович часто бывал у нас, а когда мы с женой бывали в Ленинграде — то сразу же звонили ему из «Европейской» или из «Астории» и уславливались о свидании. Он приходил в точно назначенное время, все такой же изящный и моложавый, но заметно поседевший, в неизменном темном костюме и ярко начищенных ботинках. Это была его слабость — черные, хорошо начищенные ботинки,— садился и тотчас же вытаскивал коробку самых дешевых папирос — «гвоздиков».

Если встреча происходила в ресторане, нам хотелось угостить его как следует, но он брал карточку кушаний и вин и, безразлично пробежав ее глазами, всякий раз заказывал себе одно и то же: биточки в сметане!

— Да возьмите себе что-нибудь поинтересней,— говорил в этих случаях кто-нибудь из нас, но он улыбался и повторял:

— Нет, мне, если можно, биточки в сметане и бутылочку пива.

Он всегда отличался почти аскетической невзыскательностью в быту и в пору своих больших гонораров много помогал всем, кто в этом нуждался.

Он был подлинно советским писателем, убежденным сторонником социальной революции, интеллиген-

том, вставшим под ее знамя в самые первые трудные исторические минуты. Из его биографии не выкинешь тот факт, что этот штабс-капитан гренадерского полка и георгиевский кавалер добровольно пошел в Красную Гвардию, стал красным командиром, адъютантом полка имени деревенской бедноты, сражавшегося против белой армии генерала Юденича.

Его духовную цельность не сломили тяжелые годы испытаний. Он не хныкал, не злобствовал, он лишь удивлялся, не понимая, за что и почему его критикуют. Пытался понять, но не мог!

И юмор, золотой зощенковский юмор никогда его не покидал. Только горечи прибавилось в нем, да и то — немного, пожалуй.

Однажды сидели мы у меня в номере в «Астории»: Зощенко, ленинградский кинорежиссер Тимошенко, моя жена и я, на все лады обсуждали очередную ленинградскую легенду: в городе объявился некий загадочный старичок, утверждавший, что ему 165 лет, что он родился раньше Пушкина и своими глазами видел, как бунтовали декабристы на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Ему в тот роковой день тоже якобы попало: наскочил кавалергард и палашом отсек кусочек уха. В доказательство загадочный старичок предъявлял свое укороченное ухо и выписку из каких-то ведомостей 1825 года, отпечатанную, впрочем, на пишущей машинке. Из выписки следовало, что титулярный советник имярек действительно проходил по Сенатской площади 14 декабря 1825 года и пострадал от кавалергардского палаша. Титулярному была оказана медицинская помощь. Я заметил, что Зощенко очень хотелось поверить в это чудо долголетия. Утром он позвонил ко мне в гостиницу и сказал своим глуховатым голосом:

— Вы знаете, Ленечка, этот ваш старичок произвел на меня такое впечатление, что я не спал всю ночь и под утро подумал, что я, при моей выносливости, могу прожить столько же. И мне стало так страшно, что я чуть не умер!

Чудо ленинградского долголетия оказалось, конечно, нахальной брехней: загадочный старичок, попутанный бесом странного тщеславия, приписал себе ровно сотню лет!

III

Своим переводом повести Лассила «За спичками» Михаил Михайлович очень гордился, и это была заслуженная гордость хорошо поработавшего мастерового человека. В Финляндии этот перевод высоко оценили, и в финских литературно-критических кругах поговаривали, что художественное значение творчества интересного и оригинального финского писателя Лассилы стало для финских знатоков литературы особенно явственным и весомым, когда появился зощенковский перевод его повести.

Однажды я спросил у Михаила Михайловича:

— В чем «секрет успеха» вашего перевода? Можете вы мне его открыть?

Он ответил, как всегда, серьезно и обстоятельно, когда речь шла о его работе:

— Финского языка я не знаю, пришлось работать над подстрочником. Привезла его мне в Ленинград из Петрозаводска, из издательства, симпатичная девушка, свободно говорившая по-фински. Я попросил ее подчеркнуть те места в финской рукописи, которые она считает наиболее смешными. Она это сделала, и я получил нечто вроде нотной партитуры моего будущего русского перевода. Это мне очень помогло. Ну, может быть, я еще кое-что добавил. От себя!

И после паузы он прибавил с улыбкой:

— Совсем немножко! И очень осторожно....

IV

Конечно, он был человеком очень ранимым, с тончайшей нервной организацией, даже с некоторыми «вывихами» и странностями...

Во многих воспоминаниях он выглядит человеком мрачным, необщительным, неразговорчивым. Когда хотят сказать, что юмористы не обязательно открытые весельчаки, а бывают среди них и мрачные ипохондрики,— в качестве примера называют Михаила Зощенко.

Это не так. Точнее, не совсем так. Дело в том, что Михаил Михайлович не выносил развязных, самодовольных и самоуверенных людей, к какому бы рангу и положению они ни относились. И, если в компании

оказывался такой экземпляр, прятался в свою раковину отчужденности или незаметно куда-нибудь исчезал. Но в своей, дружеской среде он был живым, остроумным и ярким собеседником, но никогда при этом не щеголял застольным остроумием и не претендовал на высокое звание «души общества». Он был из тех, кто готовно улыбается и смеется чужим остротам и шуткам, а сам больше помалкивает, но зато уж если скажет смешное, то уложит слушателей наповал.

V

Зощенко писал ежедневно, преодолевая физическую слабость, душевные тягости, жизненные невзгоды.

В самое трудное для себя время он работал над рассказами о партизанах и солдатах времен Отечественной войны, рассказами, еще как следует не оцененными критикой. В то же время он обдумывал большой роман о русском офицере времен первой мировой войны, участником которой был.

Когда он писал и работа у него спорилась — шелуха жизненных бытовых огорчений отлетала от него, и он сохранял жизнерадостность в той мере, в какой она была ему отпущена природой.

VI

Последний раз мы встретились с ним в Москве. Он приехал на юбилейный горьковский вечер. Но чувствовал себя настолько скверно, что К. И. Чуковский отсоветовал ему идти на торжественное собрание. И он не пошел, хотя ему очень хотелось там быть и даже выступить с воспоминаниями об Алексее Максимовиче.

Когда мы увидели Михаила Михайловича (он пришел к нам), — мы поняли, что Корней Иванович был прав. Он очень похудел, глаза лихорадочно блестели, появилась какая-то зловещая смазанность речи: начинает фразу, чеканя каждый слог, и вдруг, к концу, слова сливаются в нечто неразборчивое. Пробыл он у нас недолго, за ужином ничего не ел. Когда Зощенко ушел — нас охватило предчувствие беды.

Через три месяца его не стало.

ИЗ ПИСЕМ М. М. ЗОЩЕНКО

Я позволю себе привести здесь некоторые выдержки из писем М. М. Зощенко к Л. Б. Островской и ко мне. Они, как мне кажется, имеют не только узколитературоведческий интерес. Ведь Зощенко — писатель мощного оригинального дарования и наряду с этим — сложный, в чем-то даже загадочный человек неотделимы один от другого.

В большинстве своем эти письма в комментариях не нуждаются.

* * *

Из писем к Л. Б. Островской

1. 21 сентября 1949 г.

Лиличка!

Приехал домой и заболел. Провалялся несколько дней с гриппом. И теперь, поправившись, едва брожу. Подозреваю, что наступила старость.

Решимости перебраться в Москву у меня пока нет. Как вы и подозревали — привычный уклад жизни засосет меня, и я снова останусь на берегах Невы.

Может быть, после болезни у меня вялые мысли и мало энергии. Но сейчас мне кажется, что переезд слишком сложен. И что мне искать в Москве, если у меня по-настоящему и нет стремления снова засиять на литературном небе!

Не браните меня за мою склонность к провинциальной жизни. Я ведь случайно прославился и не хотел бы снова этого. А жизнь в Москве — это все-таки поиски утраченного.

Вот поправлюсь совсем и тогда напишу Вам бодрое письмо.

Большое спасибо Вам за хорошее отношение ко мне. Это очень мне дорого!

Ваш Мих. Зощ.

2. 20 ноября 1950 г.

...Очень благодарен Вам за Вашу милую открытку. Отвечаю с запозданием, так как была срочная работа

и я подходил к столу лишь с профессиональными мыслями. Делал один срочный перевод с финского. Ведь я теперь стал настоящим переводчиком. Уже выпускаю третью книгу. Причем одна из них весьма прошумела — сейчас ее издают массовым тиражом (в 75.000). Это книга финского писателя Лассила «За спичками» в моей обработке. Фамилию мою поставили в книге столь мелкой печатью, что не сразу можно отыскать. Но под старость я вовсе растерял остатки честолюбия...

. . . .

В Москве, вероятно, побываю только весной. Сильно постарел и на женщин поглядываю меньше. Но характер изменился к лучшему — стал спокоен, «как пульс покойника».

В августе чертовски болел (сердце) и чуть не подох. Но сейчас снова здоров. Чего от души желаю и Вам. Сердечный привет мужу.

Ваш Мих. Зощенко

3. 13 марта 1952 г.

Люсенька! Извините, что не тотчас отвечаю на Ваше милое письмецо. Был нездоров и в меланхолии.

...Работать с «Крокодилом» трудно на расстоянии. А с «Огоньком» и тем более. Не всякий раз редакции отвечают на письмо, да и чувствуется великое нежелание работать со мной. Поэтому не хочется навязывать свои труды.

Нашли, что конфликт пьесы для Образцова не типичен и не все комические положения исходят от характеров. Ну и что? Я не обязан был писать типичные комедии. И театр от этого не пострадал бы. Напротив, был бы веселый спектакль для кукольного театра.

Тут сам черт ногу сломит, если возьмется за театральную работу!

...Сейчас работаю над большой книгой. Но, конечно, без уверенности, что напечатают. Но может, я постарел и перестал видеть мир, как это надлежит современному литератору?

Нехорошо долго жить на свете...

М. Зощенко

4. 4 октября 1954 г.

Лиличка! Получил Вашу милую открытку. Благодарю Вас. Не писал Вам летом, так как чертовски болел и даже, представьте себе, чуть не сдох окончательно.

...Мне думалось, что я значительно крепче, а на поверку вышло, что это не так. Такое, в сущности, малое дело, какое произошло со мной этим летом, едва, можно сказать, не прервало тонкую нить моей жизни.

Полгода не писал Вам о себе, так вот теперь извольте выслушать клинический отчет о моем заболевании. Чтение это не доставит Вам, надо полагать, особого интереса, но сами виноваты — потребовали от меня подробного письма о моих делах и преступлениях.

А без описания моей болезни не так-то легко будет разобраться, что со мной.

Заболел я в июне, и болезнь была для меня полнейшей неожиданностью. В один, как говорится, прекрасный день я почувствовал отвращение к еде. Почти перестал есть. Любой кусок пищи вызывал невыносимую тошноту, боли в желудке и даже рвоту. Конечно, я уверился, что у меня рак или язва, и безропотно слег в постель, дабы не принимать больше участия в житейских делах и помышлениях.

Почти два месяца я провел на пище святого Антония — не без труда съедал одно яйцо и чашку бульона. А дней десять и вовсе ничего не ел — пил только сладкую воду.

Однако спохватился. И даже унизился до того, что позвал врача. Тот не нашел у меня никаких физических заболеваний и с удивлением сказал, что все мои недомогания происходят от того, что я ничего не ем, и боли в желудке — это «голодные боли». Причем сказал, что я довел себя до крайнего истощения и нужны экстренные меры, чтобы не отправиться к праотцам.

Эти слова для меня были тем более странны, что за все два месяца я ни разу не испытал чувства голода и не представлял себе, что я сколько-нибудь голоден.

Тогда я стал разбираться в моей темной психике и тут понял, что я слег в постель, чтобы «уйти в болезнь» и этим избежать всех новых трудностей жизни, какие мне предстояли.

Так и оказалось в дальнейшем. Но дело осложни-

лось тем, что я страшно ослаб к третьему месяцу моей болезни и с трудом передвигался по комнате. Было не легко восстанавливать то, что было мной так разрушено. Однако мне удалось постепенно улучшить свое состояние, и теперь (через 4 месяца после начала болезни) я, если и не в норме, то во всяком случае, чувствую себя удовлетворительно. И даже начал работать.

Вот какие поучительные истории могут происходить с человеком, который вовсе не отличается малодушием или трусостью. Однако животные инстинкты наши столь сильны, что разум не всегда поспевает разобраться в них. В общем, если б я не контролировал это дело, то уже этим летом путешествовал бы по небесным маршрутам.

Испытываю некоторое спортивное удовлетворение, что избежал поражения. Но победа тоже мне почти ни к чему.

Поверьте, Лиличка, иного ответа я и не мог дать этим злополучным английским студентам. Никто не поверил бы мне, если б я сказал, что я согласился с критикой, обозвавшей меня «подонком», «хулиганом» и так далее. Вероятно, англичане посмеялись бы над писателем, который согласен проглотить любую брань.

Вот по этой причине я и ответил, что не согласился с критикой в печати. Мой ответ во всех деталях был весьма патриотичен, но в этом пункте я оставил за собой право не соглашаться. О чем и теперь не жалею...

Однако ошибка моя тут все же имелась. Мне следовало бы оговориться, что с идейной стороной критики я вполне согласился. Но в пылу своего «дворянского гонора» я позабыл это сделать, и по этой причине вина моя была непростительной.

. . . .

В общем, дело это закончилось хорошо, и в печати, как видите, меня более не задевают. Но, вероятно, некоторые огорчения мне предстоят. Впрочем, в Ленинграде этого не случилось — недавно мне позвонили из ССП и попросили дать несколько рассказов для Альманаха. Это уже хороший знак, и я (хотя и не вовсе поправился) взялся за работу...

. . . .

В общем, если дела мои литературные будут затруднительными, то я снова возьмусь за переводы — чем

занимался все прошлые 7 лет. Возможно, что поработаю и в эстраде. Миронова и Менакер просто отлично сыграли мою эстрадную вещицу. Ну, вот Вам полнейший отчет о моих делах и событиях. Утешительного, конечно, не так уж много, но и больших бед и огорчений не имеется. За последние годы я стал невзыскателен и привык довольствоваться тем, что есть и что не похоже на катастрофу. Вот поправлюсь и постараюсь перебраться в Москву. Сестра предлагает мне жить на ее зимней даче. Подумаю.

Лиличка, целую Вас и благодарю за внимание. И за то, что Вы всегда добры ко мне, невзирая на всякие мои беды и прегрешения. Сердечный привет Лёне!

Ваш М. Зощенко

5. 13 декабря 1954 г.

Люсенька! Я, представьте себе, — в Сочи. Путевочку в санаторий неожиданно получил из Москвы от Союза писателей. Не знаю, как совершилось сие благое дело, но факт остается — Союз прислал мне путевку в санаторий (им. Орджоникидзе) да еще при этом три тысячи денег.

. . . .

Здесь, в Сочи, сейчас чудесно — солнце с утра до вечера, зелень, совсем тепло, все без пальто.

Санаторий отличный. Тут (все более) отдыхают шахтеры. Их здоровье (а главное аппетит) повергли меня в изумление, из которого я не выхожу вторую неделю. За день они съедают столько, сколько я (примерно) съедаю за месяц. Я диву даюсь, как это мне при моем слабом теле удалось прожить столько долго на одной почти сомнительной духовной пище...

...Перед самым моим отъездом из Ленинграда (в конце ноября) дела мои сложились как будто бы вполне хорошо. Из Альманаха вторично просили меня дать рассказы либо что-нибудь. И из «Крокодила» получил письмецо, из которого явствует, что журнал будет печатать мою продукцию.

В общем, не хватает только здоровья, за которым я и отбыл в Сочи.

На съезде вряд ли будут меня поносить — я уже, слава богу, вышел из моды. Конечно, возможно, что

кто-то что-то скажет, но я надеюсь, без брани и воплей. Вот тогда я бы снова смог вернуться в литературу уже не в качестве переводчика. Закончил бы книгу, которую начал лет 5 назад.

Будьте здоровы, Люсенька, целую Вас. Лёне мой самый дружеский привет.

Мих. Зощенко

В Ленинграде повидал Миронову и Менакер. Они играют отлично. Алекс. Сем. удивил меня переменой — стал превосходный характерный актер. Для них я уже кое-что написал — подошлю им либо дам при встрече в Ленинграде.

6. 31 мая 1954 г.

Люсенька, извините, что не тотчас ответил на Ваши открытки. Эти два месяца зверски работал — для журнала «Октябрь» по их приглашению.

Работа большая — книга новелл, листов на 15. Однако сейчас я заканчиваю только первую часть — она самостоятельна по характеру и поэтому может быть напечатана отдельно от книги.

Как будто бы работа удалась. Недели через две-три посылаю в журнал. После чего (подождав ответа), вероятно, приеду в Москву.

. . . .

Конечно, полной уверенности нет, что работа моя будет принята (целиком), но драмы и в этом случае не произойдет.

Сам возмущаюсь, что со мной стало — все отскакивает, как горох от стены. Это бывает к старости!

Однако здоровье мое сносное и даже, пожалуй, лучше, чем когда-либо прежде.

Целую Вас, Люсенька! И шлю нежный привет Лёне.

Мих. Зощенко

7. 27 мая 1955 г.

...Сообщаю Вам печальную весточку. Редакция журнала «Октябрь» отклонила мои рассказы.

У меня были все данные думать, что это мое сочинение из 10 рассказов написано весьма хорошо, но вот оказалось, что это не так. Одно из двух: либо меня не

хотят печатать, либо я и в самом деле ошибся, постарел и потерял способность писать.

Склоняюсь ко второму. Вероятно, я не так, как надо, подхожу к жизни и к литературе. И поэтому так грубо ошибаюсь.

. . . .

Буду просить Союз, чтобы дали какую-нибудь «низовую» работу. А то, может, и поеду куда-нибудь — в колхоз либо в рыбачью артель. Есть мысли об этом каком-нибудь путешествии к людям. А то, вероятно, я оторвался от жизни и людей и замкнулся в себе. Если все так дружно кричат на меня — стало быть, я не прав.

Однако, как ни странно, у меня нет сейчас растерянности или малодушия. Предстоящие (бытовые) трудности, конечно, страшат, но не настолько, чтоб паниковать. Да и осталось не так-то много жить, чтобы омрачать финальные годы. Как до удивления странно и нелепо складывается моя жизнь.

А главное, не чувствую себя виноватым. Плохой характер у меня — вот основная вина. Недаром говорят, что юморист — это прежде всего: плохой характер.

Ваш Лёня в этом случае исключение!..

В общем, Люсенька, не печальтесь за меня. Я справлюсь с огорчениями и буду рассчитывать на удачу.

Целую Вас и Лёню.

Михаил

* * *

Предварительно поговорив в редакции «Крокодила», я написал Зощенко, что он, если хочет, может передать свои рассказы, предназначавшиеся для «Октября», в «Крокодил». Если не все, то хотя бы два-три. Я понимал, как важно было для него снова увидеть свою подпись под своим наконец-то напечатанным рассказом, почувствовать, что вырвался из паутины редакционной перестраховки, в которой он барахтался все последнее время. В ответ на это предложение Зощенко прислал мне письмо.

Ленечка, задача оказалась не легкой — дать для «Крокодила» из тех 10 рассказов, которые я писал для «Октября».

Все эти рассказы по размеру не подойдут журналу. Разве что 1 или 2 можно будет урезать. А все остальное пришлось бы сильно ломать и переделывать. Да и эти два, пожалуй, порядочно пострадают от сокращения.

Уж и не знаю, как поступить. Попробую подрезать один рассказ. А насчет остальных посоветуюсь с Вами, когда будете в Питере.

В крайнем случае, я смог бы написать и новенький рассказ — темы у меня имеются.

Сейчас дьявольски много работаю над переводом с норвежского и потому с такой медлительностью отправляюсь в литературное плавание...

В общем, еще подумаю пару дней, а потом, видимо, один рассказ подправлю для «Крокодила»...

Ваш М. Зощенко

* * *

С 1956 года жизнь Зощенко в литературе изменилась к лучшему. Барометр пошел на «ясно». Это видно из его последнего письма ко мне.

15 июля 1956 г.

Лёня, спасибо за книгу. Многие Ваши рассказы я ранее знал, но кое-что для меня — новое.

В общем, собрали книгу неплохо, успех обеспечен. Однако некоторые рассказы (2—3) я бы не включал — они ниже Ваших возможностей. Об этом поговорим при встрече. Ежели, конечно, Вам будет интересно мое суждение.

Что касается моих дел, то за прошлый месяц произошли значительные перемены.

Госиздат напечатает мой однотомник (избранные рассказы 20-х и 30-х годов). Книгу выпустят до декабря этого года.

Вторую книгу (старых и новых рассказов) издает «Советский писатель».

Кроме того, много всяких литературных предложений. Но я постарел и упираюсь. Несколько рассказов, впрочем, я недавно напечатал — в «Неве» и в «Ленингр. Альманахе» — выходит в августе. Так что дела поправились, и я сейчас, пожалуй, даже разбогател.

. . . .

Все, в общем, хорошо. Но —

...старость, черт ее дери,
с котомкой и клюкой,
стучится, черт ее дери,
костлявою рукой.
Могильщик думает:
«Ну-ну,
и твой пришел черед».
Но я до сотни дотяну,
скажу вам наперед.

К сатире получил отвращение... И теперь, вероятно, буду писать стихи.

. . . .

Ну, будьте здоровы, дорогой. Желаю успеха и радостей.

Лиличке сердечный привет.

. . . .

Привет. М. Зощенко

Всадник

I

Если бы меня спросили: «Кто из советских писателей оказал на вас в литературно-общественном смысле определяющее влияние в начале вашего литературного пути?» — я, не колеблясь ни минуты, назвал бы два имени: Владимир Маяковский и Николай Тихонов.

Я помню, как я принес домой из книжного магазина две тонкие книжки стихов (по-моему, переплет у них был белый или светло-серый) со странными названиями: «Орда» и «Брага». Имя автора этих книг — Николай Тихонов — было мне незнакомо.

Я начал читать эти удивительные стихи и прочитал их все залпом, одно стихотворение за другим, не отрываясь.

Меня потрясли образная неожиданность этих стихов, горно-ледяная свежесть поэтического чувства, глубина проникновения в суть вещей — то есть все свойства большой поэзии. Я сидел, положив на колени «Орду» и

«Брагу», и повторял — наизусть! — мгновенно врезавшиеся в память строфы и целые стихотворения, которые особенно соответствовали тому, что творилось в моей голове и в моем сердце:

Мы разучились
        нищим подавать,
Дышать над морем
        высотой соленой,
Встречать зарю
        и в лавках покупать
За медный мусор —
        золото лимонов.
. . . .
Но всем торжественно
        пренебрежем.
Нож сломанный в работе
        не годится,
Но этим черным,
        сломанным ножом
Разрезаны бессмертные
        страницы.

Я заболел Тихоновым. Я читал его стихи самому себе, матери, брату, друзьям — студентам Кубанского политехнического института. Я читал его баллады: знаменитые «Гвозди», «Синий пакет» и особенно «Песню об отпускном солдате». Это была моя любимая баллада.

Батальонный встал
                и сухой рукой
Согнул пополам камыш:
«Так отпустить проститься
                        с женой,
Она умирает, говоришь?
Без тебя винтовкой меньше
                        одной,—
Не могу отпустить. Погоди:
Сегодня ночью последний бой.
Налево кругом — иди!»
. . . .
Под ногами утренних лип
Уложили сто двадцать в ряд.
И табак от крови прилип
К рукам усталых солдат.

Я обожал пронзительный — до озноба! — финал этой суровой солдатской баллады:

Умолкли все — под горой
Ветер, как пес, дрожал.

Сто девятнадцать держали
строй,
А сто двадцатый встал...

Потом я узнал от сведущих литераторов некоторые подробности биографии Николая Семеновича Тихонова. Я узнал, что он служил солдатом в особом кавалерийском полку, что он участвовал в огневых боях с немцами и в рубках в конном строю в Прибалтике, на «ледяной длинной Двине»; что живет Тихонов в Ленинграде и ходит по городу в длинной кавалерийской шинели с длинным разрезом сзади, в высоких сапогах, в старой солдатской фуражке.

Вот тогда-то в моем воображении и возник образ Николая Тихонова — поэта: твердоскулый, крепко сбитый человек, спешенный боец-всадник идет, ведя в поводу красного оседланного коня.

Красный конь — это, конечно, дань моему тогдашнему влечению Петровым-Водкиным, но ведь масть коня таила в себе особый смысл. Красный цвет был (и остается) цветом нашего Времени.

II

Увидел впервые Николая Семеновича Тихонова и познакомился с ним я лишь в 1935 году на Кавказе, в Теберде, в шумном и гостеприимном доме отдыха ученых. Кроме целой плеяды научных звезд первой величины — таких, как покойные академики физик Иоффе и ботаник Комаров, президент Академии наук того времени, молодые профессора Ландау и Артоболевский,— в то лето здесь отдыхали С. С. Прокофьев, Сергей Михалков, Маргарита Алигер, вахтанговка Цецилия Мансурова, мхатовка Нина Михаловская и другие литераторы, артисты, художники. И вот появился Тихонов, но пробыл здесь всего лишь несколько дней — у него была своя цель и свой маршрут. Он, этот завзятый и опытный горнопроходец, влюбленный в Кавказ, знающий его вершины назубок, в то лето решил пройти через Клухорский перевал, с тем чтобы спуститься к морю, в абхазские благодатные долины. Тихонов искал себе попутчиков. Он оказался именно таким, каким нарисовало его мое юношеское воображение: твердоскулый, с обветренным, чуть красноватым лицом, с серо-

голубыми балтийскими глазами. Сгусток целеустремленной энергии.

Цикл кавказских стихов Тихонова вновь поразил меня той же своей образной водопадной свежестью и неожиданностью.

Здесь ночи зыбкие печальны,
Совсем другой луны овал,
Орлы, как пьяницы, кричали,
Под нами падая в провал.

III

Вторая встреча с Тихоновым была зимой 1942 года в Москве, в гостинице «Москва», где писатели-фронтовики жили в относительном тепле и уюте от одной фронтовой командировки до другой. Тихонов прилетел сюда из осажденного Ленинграда, из его «железных ночей». Он был худ, с осунувшимся лицом, скулы еще больше отвердели, солдатская шинель крепко подпоясана офицерским ремнем с пистолетной кобурой. Мы обнялись, обменялись двумя-тремя фразами и пошли каждый по своим делам: Тихонову надо было возвращаться в Ленинград, к стихам, к корреспонденциям, к встречам с бойцами в окопах на передовой и на палубах боевых кораблей, к артобстрелам и бомбежкам, ко всему тому, что вмещало в себя емкое и страшное слово «блокада».

Дружеское наше сближение произошло позже, уже после войны, в Переделкине.

...За большим овальным столом сидят те, кто забежал на тихоновский огонек. Мы пьем легкое красное вино и слушаем Тихонова. Он рассказывает о своих поездках по белому свету, о поэтах и писателях, с которыми дружил и которых уже среди нас нет, о политических деятелях Востока и Запада, с которыми общался как председатель Советского комитета защиты мира. Он совершает по ходу рассказа экскурсы в историю, в природоведение, в географию. Он ведь так много знает, а его способность проникать в суть вещей не угасла с годами, а усилилась. Он говорит языком прозаика, но кажется, что он читает стихи — так ярки и выпуклы детали его рассказов, так пластичны его образы.

Мария Константиновна, жена, друг, первый слушатель и ценитель произведений Тихонова, сидит в своем плетеном кресле и улыбается мудрой, чуть иронической и чуть печальной улыбкой. Мы слушаем рассказы Тихонова как завороженные. Мне кажется, что даже тихоновские коты — черный бархатный и серый тигровый — умные и добрые звери, сидящие на подоконниках, слушают своего хозяина с той же завороженностью и с таким же вниманием, как и мы, его гости.

А придешь через несколько дней и узнаешь, что Тихонов уже улетел в Дели! Или — в Сингапур. Или — в Стокгольм. Или — в Тбилиси... Туда, куда позвали его интересы борьбы за мир или литературно-общественные заботы.

Осенью 1975 года я видел Тихонова в Баку, на Декаде советской литературы в Азербайджане. Только что он пережил большую личную драму — смерть Марии Константиновны. Я знал, чем была для него Мария Константиновна, и боялся за него. Но он прошел и через это тяжкое горе как солдат. Он не сделал и не позволил сделать для себя никакой поблажки. Он выступал наравне со всеми, читал новые стихи про маленького азербайджанского мальчика, взбирающегося по ступенькам крутой лестницы, — отличные стихи, полные ясного и глубокого символического смысла. На митинге-концерте на Нефтяных Камнях он простоял два часа на ногах на помосте для гостей, и, когда кто-то из азербайджанских товарищей принес для него стул, Тихонов даже не оглянулся, только еще крепче сжал поручни помоста руками. А ведь ему было той осенью уже 79 лет, он поседел и погрузнел. Впрочем, сам Николай Семенович думает об этом иначе. В своем раннем юношеском стихотворении он сказал по этому поводу так:

Мы кольца растеряли,
не даря,
И песни раскидали
по безлюдью,
Над молодостью —
медная заря,
Над старостью...—
но старости не будет!

Это был храбрый человек!

Я очень обрадовался, когда в начале августа 1941 года узнал, что Иосиф Уткин, так же как и я, получил назначение в редакцию фронтовой газеты Брянского фронта «На разгром врага» и нам предстоит вместе отправиться из Москвы в Брянск в распоряжение редактора А. М. Воловца.

Уткина я тогда знал мало, но мне нравились его стихи, их подлинный, не наигранный лиризм, понравился мне и сам поэт. Понравилась и его внешность. В юности Уткин, как известно, был похож на молодого Байрона: каштановая копна волос над бледным высоким лбом, орехового цвета глаза с длинными ресницами, нежный и в то же время сильный, волевой рот. Смесь мужества и юношеской женственности.

К зрелым годам он чуть отяжелел, погрузнел, юношеская женственность отлетела от него, но все же он был еще очень красив и на литературных вечерах восторженные девчонки по-прежнему присылали ему записочки с признаниями и уверениями. К тому же он был начисто лишен жречески-кастовой фанаберии, свойственной иным нашим поэтам, остроумен, независим и смел в суждениях.

Я помню, что познакомил меня с Уткиным Лев Вениаминович Никулин, и я сразу почувствовал симпатию к нему. По моим внутренним ощущениям, эта симпатия была взаимной.

Перед отъездом на фронт мы встретились с Уткиным в Союзе писателей на улице Воровского. Хорошо подогнанная военная форма шла к нему. Вместо пилотки на голове его ловко сидела общевойсковая офицерская фуражка с красным околышем, из-под козырька с небрежной, казачьей какой-то лихостью выбивался на лоб темно-каштановый чуб. Пояс на гимнастерке затянут тесно, — палец едва просунешь. Кобура, отяжеленная пистолетом, плотно лежит на бедре.

Мне при выдаче обмундирования пистолета не выдали — не хватило! — и в свою кобуру я насовал газетной бумаги, чтобы она не теряла формы, но все равно у нее был какой-то неприлично-тощий вид, и я с завистью поглядывал на уткинский пистолет.

Видно было, что поэт с удовольствием носит военную форму, что у него есть вкус к оружию, ко всему военному делу.

Он придирчиво оглядел меня с головы до ног и сказал:

— Сапожки могли бы вам получше выдать, но в общем вы, Ленечка, выглядите хоть куда. Только купите себе в военторге фуражечку, как у меня. Пилотка пилоткой, а офицерскую фуражку надо иметь!

На фронт Уткин уехал поездом на неделю раньше меня. Я же, по приказу А. М. Воловца, выехал в Брянск машиной в составе целого каравана грузовиков с типографским имуществом. Вместе со мной на фронт отправился Евгений Ведерников, тогда еще совсем молодой, начинающий художник-карикатурист, крокодилец — мой будущий соратник по «Осиновому колу» — так был назван сатирический отдел газеты «На разгром врага».

Мы благополучно добрались до брянских лесов вблизи самого Брянска. Здесь, в 12 километрах от города, находившегося под неусыпным наблюдением немецких бомбардировщиков, в чащобах дивного смешанного хвойно-лиственного леса расположился штаб фронта и все его многочисленные службы. Фронтом командовал генерал Еременко.

Уткин встретил меня радостно и совсем по-приятельски. Он за эту неделю успел стать и в редакции и в Политуправлении фронта своим человеком. Держался он в сложной армейско-редакционной обстановке просто и ровно, однако не допускал при этом никакого хлестаковского панибратства со стороны любителей так называемой «солдатской простоты». Что-то такое было в его манере говорить и смотреть на собеседника чуть прищурясь, что удерживало самых разудалых любителей этой «простоты» от жгучего искушения покровительственно похлопать знаменитого поэта по плечу:

— Ну, что, брат Уткин, вместе служим, а?!

Третьим «штатным писателем» в редакции оказался Исай Рахтанов. Ходил он чуть волоча ногу,— подпоясывал гимнастерку офицерским ремнем значительно ниже грузной поясницы, был при этом очень мил, приветлив и острил смешно, хотя и несколько книжно.

Я, отправляясь на фронт, на работу во фронтовую газету, одновременно стал спецкором «Известий», Ут-

кин был связан с «Правдой», а что касается Исая Рахтанова, то он представлялся высшим чинам штаба фронта как специальный корреспондент журнала... «Мурзилка».

Представляясь, он прикладывал пятерню с расставленными пальцами к пилотке и звонко щелкал каблуками — если только ему удавалось вовремя подтянуть к здоровой ноге другую, непокорную, пораженную в раннем детстве детским параличом. На фронт Рахтанов пошел добровольцем. Я заметил, что Уткин оберегает Рахтанова от наскоков редакционных остряков.

На следующее утро после моего приезда в брянский лес в избу лесника, где расположилась редакция фронтовой газеты, меня позвал к себе Александр Михайлович Воловец и, ласково глядя на меня своими темно-карими смеющимися глазами, приказал в самой категорической форме немедленно приступать к выпуску сатирического отдела в газете.

Не хуже Рахтанова я щелкнул каблуками и отчеканил:

— Слушаюсь, товарищ старший батальонный комиссар!

Воловец улыбнулся.

Я сказал жалобно:

— Александр Михайлович, художник у нас есть, с темами и прозой я как-нибудь справлюсь, но как быть с сатирическими стихами? Без стихов — нам труба!

— А Уткин на что? — сказал Воловец.

— Вряд ли Уткин станет делать сатиру, — возразил я, — он ведь лирик «по самой строчечной сути».

— Иосиф Павлович все может делать! — сказал Воловец.— Он для Политуправления такие, знаете ли, листовки пишет — любо-дорого читать! В прозе! Попросите его, я уверен, что он напишет для вас и фельетон, и частушки, и все, что нужно!

Когда я заговорил на эту тему с Уткиным, он безо всякого ломанья сказал просто:

— Конечно, Ленечка, я напишу что-нибудь для вашего «Кола». Хотите частушки?

И он действительно написал для первого выпуска нашего «Осинового кола» бойкие частушки про Гитлера, про фрицев. «Все, что нужно» — как говорил А. М. Воловец!

В свободные от редакционной работы минуты мы уходили с Уткиным в глубь леса, находили какую-нибудь укромную полянку и, усевшись на пеньки, откровенно говорили обо всем на свете: о фронтовых делах, о том, что будет после войны, когда наша армия добудет трудную нескорую победу, о судьбах России, о тяжелой доле многострадального русского мужика-колхозника, который на третьем месяце войны оказался в оккупации под властью жестокого бесчеловечного врага.

Уткин, говоря обо всем этом, часто повторял строки Блока:

Доколе коршуну кружить?!
Доколе матери тужить?!

Однажды на такой полянке он прочитал мне только что им написанные прекрасные стихи о дубах-нелюдимах. В синем эмалево-чистом небе над нашими головами в четком хищном строю шли на восток «одна за другой эскадрильи «юнкерсов» — бомбить наши тылы. Дуб-нелюдим, под которым мы укрывались, тревожно шумел своей темной листвой, когда налетал ветер — будто предупреждал нас о неминучей беде. Стихи Уткина были полны мрачных предчувствий.

Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это — другая.
Это значит... сырая земля.
Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине.
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с родиной мне...

II

Сидение в домике лесника вскоре стало казаться нам слишком уж идиллическим.

Работы в редакции, правда, хватало. Появились у нас и друзья — интересные люди: бригадный комиссар Шлихтер из Политуправления, широко образованный марксист со свежими собственными взглядами на многие трудные вопросы тогдашней действительности, подполковник Л. М. Максимов из фронтовой разведки, живой остроумный человек, разрешавший нам присутствовать на допросах пленных немцев, председатель военного трибунала фронта московский юрист Бенедиктов.

Короткие беглые встречи с ними были нам приятны, но нас влекло на фронт, на передовую. Хотелось понюхать настоящего пороха! Мы стали нажимать на Воловца, просить командировку. Он долго сопротивлялся, но потом не выдержал и подписал командировочное предписание, выделив в наше распоряжение свою «эмку» с шофером.

Мы собрались ехать под Почеп, где происходили «бои местного значения»!

Нам бы и ехать из брянского леса прямо туда, куда нам предписывало направиться командировочное удостоверение, то есть за Десну под Почеп, а нас черт угадал «на одну минуточку» заскочить в Брянск в городскую типографию, где временно печаталась наша газета, повидаться с товарищами. Эта минуточка все и решила.

— Хорошо, что вы заехали! — обрадовался нам выпускающий нашей газеты.— Звонил редактор, приказал, если вы появитесь, вернуть вас обоих назад в лес, в редакцию.

— Что за чушь! — возмутился Уткин.— А вы спросили Александра Михайловича, почему, собственно, мы с Ленчем должны вдруг ни с того ни с сего возвращаться в лес, несолоно хлебавши?!

Выпускающий тонко улыбнулся:

— Начальству нельзя задавать вопросы, тем более на фронте. Начальство само задает вопросы!

Он сделал паузу и прибавил с той же тонкой дипломатической улыбкой:

— Возможно, редактор что-то задумал и ваши перья ему срочно понадобились. А возможно и другое. Вас, писателей, у нас в редакции три. Нерасчетливо двоих сразу посылать на передовую. Мало ли что может случиться! По одному — вот это по-хозяйски! Впрочем, все это мои личные домыслы.

— Мы что же — должны сейчас же ехать назад?

— Плохо вы знаете Воловца! — сказал выпускающий.— Он хороший человек и хороший психолог. Он разрешил вам переночевать в Брянске. Утром вернетесь к себе в лес. Можете до комендантского часа — сходить в кино, погулять по городу. Ночевать будете не где-нибудь на ящиках и лавках, а в городской гостинице на настоящих кроватях с настоящими пружинными матра-

цами. В общем, ступайте с богом и вкушайте дары цивилизации.

Что нам оставалось делать? Мы поставили нашу машину во двор типографии, а сами отправились вкушать «дары» брянской «цивилизации».

Теплый августовский ветерок хозяйственно шевелил пыльную листву деревьев, и на бульварах тень-тенькали, прыгая с ветки на ветку, легкомысленные синички. Все совсем как в мирное время! Мы с Уткиным побродили по полупустому городу, посидели на скамейке в тенистом сквере, послушали концерт синиц и, установив, что прифронтовой Брянск из всех даров цивилизации может предложить нам лишь кино и баню, выбрали для себя, конечно, баню.

Старуха кассирша честь по чести продала нам билеты в 1-й разряд. Мы вошли в чистенькую раздевалку и обнаружили, что будем мыться вдвоем. И вот когда мы уже намылись и стали с горьким наслаждением растирать зудящие спины мочалками — заревели сирены воздушной тревоги. Мы с Уткиным переглянулись и принялись еще яростнее действовать своими скребницами. Вдруг дверь, ведшая в раздевалку, отворилась, и на банном пороге появился роскошный рыжеусый мужчина в военной гимнастерке без знаков различия, в галифе и в высоких сапогах, с кавалерийским карабином, висящим у него на ремне через плечо. Он был похож на мультипликационного кота в сапогах. Я успел заметить, что у него одна нога короче другой и он сильно хромает.

— Вы что, товарищи военные, не слышите, что ли, сигнала?! — грозным басом заботливого старшины закричал на нас «кот в сапогах» с порога.— Ждете отдельного приказания? Одевайтесь и ступайте во двор — там у нас щель вырыта!

— Послушайте, голубчик,— сказал Уткин с несколько надменной небрежностью.— Почему вы, собственно, на нас орете? И кто вы, собственно, такой?

— Я — директор бани! — прорычал «кот в сапогах».

— Пойдемте, Иосиф! — миролюбиво сказал я.— А то он еще откроет по нас огонь из своего карабина. Я готов пасть на поле брани, но пасть на поле бани... да еще от руки ее директора... не за этим я сюда приехал!!

Мы кое-как вытерлись, натянули белье на влажное тело, надели штаны и гимнастерки и без сапог, босиком, вышли во двор, где в неглубокой щели нас уже ожидал строгий директор.

Замолкли хлопки зениток, прозвучал сигнал отбоя.

— Мы имеем право домыться за те же деньги? — учтиво спросил Уткин директора, подмигнув мне.— Или надо брать новые билеты?

— Можете идти домываться! — милостиво разрешил усач.

И вот опять мы сидим голые на мраморной лавке и раздираем себя мочалками. И опять — ревут сирены воздушной тревоги! И опять — директор бани — о, эта неистовая исполнительность старого служаки! — вырастает на банном пороге, неумолимый, как статуя Командора, приглашенная на ужин бедным Дон-Жуаном!

— Отдельного приглашения ждете, товарищи командиры?..

Опять мы натягиваем бязевые кальсоны и рубахи на влажное тело, спешим во двор и прячемся в щель. Опять хлопают зенитки. Где-то грохочет взрыв. И вот опять — отбой.

Когда в третий раз заревели сирены и на пороге появился наш мучитель, мы с Уткиным взбунтовались.

— Вы, Ленечка, как хотите, — сказал Уткин,— а я никуда больше не пойду. Мне это надоело.

— Я тоже не пойду! — сказал я.

Директор надулся, усы у него встали дыбом, из светло-голубых глаз, как мне показалось, посыпались искры административного восторга. Он уже открыл рот, чтобы закричать на нас, но вдруг Уткин просто и даже задушевно спросил:

— А вы сами-то когда в последний раз мылись в бане, товарищ директор бани?

Административные искры в глазах усача тотчас погасли, усы опустились. В одно мгновение он весь как-то обмяк и подобрел.

— Да я уж и забыл даже, когда купался!— буркнул директор.

— Раздевайтесь и приходите! — скомандовал Уткин.— Будем вместе мыться, втроем веселее!..

Директор повернулся и исчез вместе со своим карабином.

Через пять минут он снова возник на пороге, розовый, голый, благостный, как Христос при крещении.

Деликатно прикрываясь веником, он проковылял к отдельной скамейке, налил кипяточку в шайку, и когда — еще через пять минут — снова завыли сирены воздушной тревоги, наш партнер уже фыркал, гоготал и повизгивал от наслаждения, хлеща себя веником по спине и тощим ляжкам. Ему было на все наплевать. Только прямое попадание бомбы могло бы прервать его невинное занятие!

Мы хорошо помылись, дружески простились с директором бани и пошли в гостиницу. Гостиница была почти пуста. Нам дали каждому по номеру, и мы отлично выспались на настоящих пружинных матрацах, лежащих на настоящих кроватях.

О своей поездке в Брянск и о «тихих» банных радостях мы, сильно все приукрашая, рассказали редакционным товарищам, не скупясь на живописные подробности. Нам откровенно завидовали, а секретарь редакции А. Я. Митлин, в прошлом редактор газеты «Кино», симпатичный и кроткий хлопотун-работяга из породы тех газетных коренников, которые, где бы они ни работали, главную тяжесть редакционного воза берут на себя, объявил, что он завтра же поедет в Брянск в типографию по неотложному делу и заодно уж, конечно, посетит брянскую баньку и передаст от меня и Уткина привет усачу директору.

Митлин действительно на следующий день отправился в Брянск — в командировку. После обеда наша изба опустела. Сотрудники разбрелись по своим делам — кто куда.

Воловец ушел к начальнику Политуправления фронта. У меня наметился свободный часок, и я залез на сеновал тут же в избе и решил, пока суд да дело, вздремнуть. Только я устроился поудобнее, как началась бомбежка. Взрывы бомб следовали один за другим. Изба лесника ходила ходуном. Нужно было выйти наружу и укрыться в щели, но этак уютно пристроил свое бренное тело в душистое мягкое сено, такая истома охватила меня, что я продолжал маяться на сеновале в сладком полузабытьи. Вдруг внизу на столе Митлина зазвонил телефон.

Я слез с сеновала и снял трубку.

— Попросите Ленча! — сказал незнакомый голос.

— Ленч слушает!

— Леонид Сергеевич, только что при въезде в Брянск тяжело ранен Митлин. Он попал под бомбежку, ему оторвало ногу. Вы, кажется, знаете хирурга Вишневского? Найдите его и попросите, чтобы он сейчас же приехал в госпиталь, он знает, в какой. Действуйте быстро!..

На секунду я оторопел. Вот тебе и наша лесная идиллия!

Я выбежал из избы лесника. Боже мой, где же искать Вишневского, тогдашнего фронтового хирурга?!

Я быстро пошел по направлению к землянкам штаба фронта и вдруг — так бывает только во сне или в кино — увидел пробирающийся по лесной дорожке пикап и в нем Александра Александровича Вишневского. Я закричал что есть силы:

— Александр Александрович!..

Вишневский обернулся, увидел меня, тронул шофера за плечо. Пикап остановился.

...Через три часа в сумрачную притихшую избу лесника (все уже знали о ранении Митлина) вошел Вишневский. Я вздрогнул, увидев его осунувшееся хмурое лицо и черные тени под запавшими глазами. Гимнастерка его пропотела насквозь.

Он обратился ко мне, сказал:

— У тебя коньяку нет случайно?

Коньяк у меня был — на днях прислали посылку из Москвы.

Я достал из чемодана бутылку, налил полстакана. Хирург выпил одним глотком и сказал, ни на кого не глядя:

— Он умер на столе. Я ничего не мог сделать. Газовая гангрена при плохом сердце.

Митлина все любили. Он был добрым, скромным человеком, настоящим советским газетчиком. Дней через пять после его смерти массированным ударом вражеской авиации Брянск был разрушен и сожжен почти полностью.

III

Теперь я хочу рассказать о том, как был ранен Уткин. О ранении поэта рассказывали и даже писали мно-

гие, допуская при этом разные, крупные и мелкие, неточности.

Мне о своем ранении рассказал сам Уткин, и я передам его рассказ, ничего не прибавляя и ничего не убавляя.

Мне очень хотелось написать для «Известий» о действиях штурмовой авиации Брянского фронта. Штурмовики, или «горбачи», как ласково называли летчики свои хищно-приземистые, могучие, с бронированным «брюхом», действительно чуть горбатые по силуэту машины, оказались отличным наступательным и оборонительным воздушным оружием. Их короткие удары по танкам, моторизованным колоннам и по пехоте врага, обычно внезапные, ошеломляли немцев своей пугающей эффективностью. Помимо пушек и пулеметов штурмовики, летавшие на низких высотах, были вооружены еще и «эресами» — реактивными снарядами. В море огня превращалась танковая колонна врага, попадавшая под неожиданный удар «горбачей»!

Я получил у Воловца разрешение слетать в Жиздру, где стояла дивизия штурмовиков. До Карачева я добрался на попутной, а там майор Резник, командир полка истребителей, весельчак и храбрец, с которым я быстро подружился, устроил меня на У-2, летевший в Жиздру. Я слетал к штурмовикам и с исписанным блокнотом так же благополучно вернулся в Карачев. Щедрый Резник дал мне полуторку — доехать до штаба фронта. Мы уже подъезжали к шоссе, как вдруг из-за облаков вынырнул «мессершмитт» и стал пикировать прямо на нас. Шофер остановил машину, рывком открыл дверцу с моей стороны и чуть ли не в шею вытолкнул меня из грузовика. Я побежал по кочковатому полю, упал, и сейчас же, как мне показалось, совсем рядом грянул взрыв. Оглянувшись, я увидел черный фонтан земли — взметнувшийся к небу на другой далекой стороне поля. «Мессера» уже не было. Через час я был дома, в редакции. Первым, кого я увидел на крыльце избы лесника, был Уткин,— в шинели, с вещевым мешком за плечами, с автоматом на ремне. Мы поздоровались, и я, еще не остывший после своих приключений, стал рассказывать ему про жиздринских штурмовиков, про храброго Резника и, конечно, про то, как я бежал по кочковатому полю, чувствуя всей спи-

ной свист падающей бомбы (насчет свиста и спины было сказано в порядке художественного преувеличения).

Уткин прервал мои излияния:

— Я с бригадным комиссаром Шлихтером сейчас уезжаю на фронт. Туда же, под Почеп. Там предстоят большие дела, будем прорывать фронт Гудериана. Ступайте сейчас же к Воловцу и просите, чтобы он отпустил вас с нами. Мы вас обождем!

Предложение было заманчивым. Я бросился к Воловцу, но добрейший Александр Михайлович на этот раз оказался непреклонен.

— Сначала дайте в газету материал о штурмовиках, а там... видно будет!

Уткин уехал один. Примерно дней через пять-шесть под вечер в избу лесника, согнувшись, чтобы не задеть головой притолоку, ввалился высоченный военврач с двумя шпалами на петлицах заношенной гимнастерки, поздоровался и сказал хриплым басом, обратившись ко мне,— я был к нему ближе других.

— Уткин у вас работает?

— У нас! — сердце у меня замерло.

Военврач вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Я ему только что четыре пальчика на правой руке того... оттяпал!

Уткин после ранения был доставлен с фронта самолетом в полевой подземный госпиталь на окраине Брянска — в тот самый, где умер на операционном столе бедняга Митлин. Я поехал в госпиталь вместе с высоким хирургом (фамилию я его забыл) в тот же вечер. По его распоряжению мне дали халат (он был весь в неотмытых бурых пятнах), и я пошел по узкому проходу среди кроватей, на которых лежали раненые, ища глазами Уткина.

Воздух, насыщенный специфическими госпитальными запахами, был тяжелый, спертый из-за отсутствия вентиляции. Кто-то тихо стонал, кто-то громко бредил. Молоденький боец с круглой, мальчишеской, остриженной головой, раненный в грудь навылет, весь забинтованный, сидел в кровати громко, по-детски плакал. Пожилой усатый санитар, поддерживая его осторожно и нежно за плечи, ворчливо выговаривал ему:

— Ну что ты плачешь, дура-голова, ты — терпи, ты — солдат, а не дите!

— Так ведь больно, дяденька!

— Всем больно, а никто не скулит, один ты!..

Наконец я увидел красивую голову Уткина, лежащую на подушке. Я подошел к его кровати. Поверх одеяла покоилась его правая забинтованная рука. Алые свежие пятна крови проступали на белой кукле повязки. Он был изжелта-бледен, лицо осунулось, глаза раскалены страданием. Я сел у него в ногах и, проклиная свою чувствительность, отвернулся, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. Уткин молча пожал здоровой левой рукой мою руку.

Справившись с собой, я сказал:

— Расскажите, как это все произошло, Иосиф!

И вот что мне рассказал Уткин тогда, в августе 1941 года, в полевом подземном госпитале на окраине Брянска.

Они с бригадным комиссаром Шлихтером безо всяких осложнений добрались до передовой. В лесу, где были сосредоточены части прорыва, состоялся митинг. Уткин выступил на митинге с речью, потом читал стихи. После короткой огневой подготовки началась атака. Политработники, выступавшие на митинге, решили идти в бой вместе с бойцами. Вместе с ними пошел и Уткин.

— Зачем вы это сделали, Иосиф? — вырвалось у меня.— Вы же работник газеты, поэт... вы могли и не пойти, никто бы вас не осудил за это!

— А совесть? — сказал Уткин, глядя на меня с укором.— Я выступал на митинге... призывал и взывал... стихи им читал! А потом — в кусты?! Думаю, что и вы, Ленечка, на моем месте поступили так же.

Он, конечно, был прав, и я сказал ему об этом.

Атака наша захлебнулась. Части, брошенные в наступление, состояли из молодых необстреленных солдат, а противостояли им крепкие эсэсовские полки.

Немцы открыли огонь по наступающим из тяжелых минометов с дальних позиций, а потом поднялись в контратаку. Наши дрогнули и попятились. Политработникам, в том числе и Уткину, пришлось заниматься самым тяжелым делом, какое порой ложится на плечи командиров и политработников в бою — тушить начинавшуюся панику. И они ее потушили. Необстреленные бойцы остановились, подоспели резервы,— контратака

немцев была отбита! Но о финале боя Уткин узнал уже в санбате. Одна из тяжелых немецких мин разорвалась поблизости от него. Он лежал вытянув руки. Рядом лежал какой-то политрук. Завизжали осколки. Один отсек Уткину три пальца правой руки, оставив четвертый висеть на ниточке из кожи, другой впился политруку в левую ягодицу. Их обоих доставили в санбат. Рана политрука оказалась легкой. Уткина, потерявшего много крови, погрузили в самолет и перебросили в Брянск. Через несколько дней, по приказу генерала Еременко, поэт, награжденный орденом Красной Звезды, был самолетом же отправлен на лечение и протезирование в Москву.

IV

В начале 1942 года, по приказу тогдашнего заместителя наркома обороны т. Кузнецова, в связи с обострившимся старым легочным процессом, я был отозван с фронта и вернулся в Москву. Здесь мы снова встретились с Уткиным. Он продолжал носить военную форму. Черная лайковая перчатка туго стягивала протез на правой руке. Вскоре он снова уехал на фронт — повидаться со старыми друзьями и набраться новых фронтовых впечатлений.

...Осенью 1944 года у меня на квартире раздался телефонный звонок. Я снял трубку и узнал голос Сергея Васильева. По его тону я понял, что случилась какая-то большая беда.

— Я только что из морга. Мы с Антокольским ездили для опознания тела Уткина.

— Боже! Когда это случилось?

— Сегодня утром. Возвращался из Бухареста... туман... авиационная катастрофа... У него в руке был томик Лермонтова!..

Я положил трубку. Рыдания душили меня. Ему шел сорок первый год! Как рано оборвалась красивая жизнь этого талантливого и храброго человека-поэта!

Удачная охота

Памяти Сергея Васильева

Ранним апрельским вечером лирический поэт Максим Лебедкин, саженного роста человек из породы «добрых молодцев», приехал к своему приятелю — прозаику Блинову Василию Петровичу. Прозаик сидел в своем кабинете за письменным столом, тощий, с желтовато-зеленоватым лицом, одетый в теплую байковую куртку и домашние туфли, и писал, вернее — пытался писать.

Кто из пишущих людей не переживал того отвратительного, подлого душевного состояния, которое в просторечии именуется «муками творчества»?! В голове пусто, как в барабане,— ни одной мыслишки. Лежащий перед тобой на столе издевательски белый чистый лист бумаги вызывает ощущение мозговой тошноты. Сидишь и тупо смотришь в одну точку час, другой, пока всем твоим бренным телом не овладеет многопудовая сонливость.

Блинов находился именно в таком состоянии, когда поэт шумно вошел в его кабинет. Он поздоровался с хозяином, плюхнулся в кресло, вытянул ноги и, с сожалением поглядев на измученное лицо прозаика, спросил:

— Творишь, Вася?

— Пытаюсь.

— Рассказ?

— Да!.. Хотелось, понимаешь, написать небольшой рассказец из колхозной жизни. Такой, знаешь, лирический... Любовь, природа, хорошие, чистые девушки, песня на заре... Название уже есть — «Вечерний покой». Хорошо?

— «Вечерний покой»? Ничего, подойдет! А кроме названия, что у тебя есть, Вася?

— Ни-чего!.. Ноль в целом, ноль в периоде. Два часа сижу, голова трещит, устал как последняя собака! Не получается!

— И не получится! — убежденно сказал поэт.

— Почему?

— Разве с таким цветом лица можно написать

о любви и природе?! Посмотри на себя в зеркало! С таким цветом лица пишут не про вечерний покой, а про приемный покой. Лирический рассказ из жизни хронических язвенников.

Поэт поднялся, шумно втянул носом застоявшийся, пропитанный табачными миазмами комнатный воздух, подошел к окну и одним рывком открыл форточку. В комнату широкой струей полился ледяной, нежный апрельский холодок.

— Закрой форточку, Максимка! — завопил прозаик.— Ну тебя к черту... простудишь! Закрой сейчас же!

— Ладно, закрою! Иди сюда!

Лебедкин захлопнул форточку. Прозаик с опаской подошел к окну.

— Посмотри и скажи, что там...— строго сказал Лебедкин.

— На дворе? Две кошки... довольно облезлого вида,— доложил обстоятельный прозаик,— нянька с ребенком... Дворник... Скамейка... В общем, двор как таковой!..

— «Двор как таковой!» Там — весна, несчастный! — громыхнул лирический поэт.— Прелестная, необыкновенная, обаятельная московская весна!.. С можайским льдом на реке, с первым жаворонком в высоком небе, с оживающими после зимней летаргии хрупкими березками, с прозрачными далями... А впрочем, что ты в этом понимаешь, сухарь ты, черствая корка!..

— Что ты ругаешься? — обиделся Блинов.

— Я не ругаюсь. Я жгу глаголом твое сердце!

— Даже критики и те находят, что я очень эмоционально описываю природу, пейзаж. А ты — «сухарь».

— Критики наши — горожане! — возразил поэт.— Ты их не слушай, Вася. Критик выйдет на дачную верандочку, купит у девчонки стакан малины и уже считает, что пообщался с природой. А ты писатель, художник! Ты должен быть охотником, бродягой, следопытом. Как Тургенев, как Лев Толстой в юности, как Аксаков, как Пришвин наконец. Ты поживи в колхозах, поброди по лесам и полям, поночуй в болотах, тогда у тебя появится...

— Радикулит! — сказал прозаик.

— Ерунда! Появится знание жизни, людей, истинное чувство природы и... настоящий мужской цвет ли-

ца. Вот тогда ты и напишешь твой «Вечерний покой» по-настоящему. Ты когда последний раз видел вечернюю зорьку в лесу? Признавайся!

— Не помню. В общем, видел... просматривал, так сказать. А вот летом я возьму творческую командировку...

— Природа всегда хороша: и зимой, и летом, и осенью, и тем более весной. Короче говоря, собирайся, едем!

— Куда?!

— В творческую командировку... на три часа! У меня машина внизу. Закатимся под Можайск, побродим по весеннему лесу, постоим на вечерней зорьке. Может быть, на мое сиротское счастье какой-нибудь отчаянной жизни вальдшнеп на меня напорется. Поедем, Вася! Тебе необходимо проветрить башку. Поедем!

Через час они были уже далеко от Москвы.

Лебедкин остановил машину среди леса, с двух сторон вплотную подступившего к прямому, как линейка, великолепному Можайскому шоссе.

— Вылезать и дышать свежим воздухом! — скомандовал он.— Я сейчас...

Прозаик покорно вылез из машины и сразу почувствовал, что он, в своем легком демисезонном пальто, в шляпе и нарядных желтых туфлях, долго дышать свежим воздухом не сможет: уж очень он был свеж, этот кристально чистый, сильно похолодавший к вечеру загородный воздух!

Он походил, подышал, озяб и вернулся к машине. Лебедкин, успевший сменить пальто и костюм на синий рабочий комбинезон, натягивал на ноги резиновые сапоги.

— Дышишь, Вася? — спросил он весело.

— Дышу!

— Не чувствую энтузиазма в твоем голосе. Воздух-то, воздух какой!.. Объедение!

— Воздух ничего. Но, знаешь, определенно не хватает...

— Кислорода?

— Полушубка!

— Ничего, в лесу будет теплее... Батюшки, мы же забыли тебя... оборудовать! В этих туфельках ты, конечно, по лесу не походишь. Придется тебе, Вася, по

шоссе погулять. Ты походи пока туда-сюда, а я быстренько обернусь. Озябнешь — забирайся в машину и сиди.

Блинов чихнул два раза подряд и ничего не ответил.

Поэт скрылся в лесу. Прозаик погулял по шоссе и озяб еще больше потому, что ветер усилился и стало холоднее.

Уже темнело. Шоссе было пустынным. Лишь изредка мимо литераторской «Победы» с каким-то змеиным ехидным шипом проносились одинокие грузовики.

— Мак-сим-ка! — отчаянно закричал прозаик.— Домой хочу! Иди сюда!..

Никто не ответил. Где-то далеко в лесу слабо щелкнул выстрел.

— Мак-сим! — еще отчаяннее крикнул прозаик.— Где ты?! Мак-сим!..

Лес молчал. Только по-прежнему с той же собачьей безудержной яростью бесновался ветер. Прозаик быстро залез назад в машину и захлопнул дверцу.

Прошел еще час. Лебедкин не появлялся. Пригревшийся прозаик задремал. Вдруг кто-то сильно рванул дверцу кабины. Блинов вздрогнул, проснулся и увидел поэта, улыбающегося, довольного, с блестящими от возбуждения глазами.

— Надышался, Вася? — ласково сказал лирик.

— Хлебнул бензинчику. Спасибо!

— Неужели так все время и сидел в машине?

— А ты? Неужели так все время и ходил по лесу?!

— И ходил, и стоял, и даже ползал, потому что провалился в болото и едва вылез.

— Подстрелил что-нибудь?

— Одну ворону. И та улетела!

— Хорош охотничек! Типичный витязь в барсовой шкуре!

— Весна, Вася, просто замечательная. В лесу волшебно. Стоишь, понимаешь, в овраге, и тебе кажется, что ты слышишь, как в почве, под прелью, в стволах деревьев бродят, шумят весенние соки. Представляешь, старик?

— Нет, не представляю. На шоссе шумели грузовики, а не соки.

— Ты, кажется, злишься?!

— Удивляюсь! — желчно сказал прозаик.— Просто

удивляюсь. Привез, бросил и ушел. И хоть бы вернулся не с пустыми руками! Ну, хоть бы какого-нибудь несчастного глухаренка принес! Для морального оправдания! Я озяб, устал и вообще... пора.

— Сейчас поедем, я только переоденусь. Дай-ка сюда мои брюки, пиджак и туфли.

Поэт взял свою одежду, сел на ступеньку машины, стащил с ног сапоги и мокрые насквозь носки и вылил из сапог воду. Потом он снял с себя комбинезон и остался в одних трусах. С ужасом и восхищением глядел прозаик на мощные ляжки лирика, еще хранившие след прошлогоднего загара.

— Ты еще чуточку посиди, Вася! — сказал тот оторопелому прозаику.— Я маленькую разминку сделаю, и поедем домой!

— Какую разминку? Неужели ты еще не размялся?

— Я стометровку пробегу. Лучшее средство от простуды! Да ты хоть открой окно, подыши напоследок!..

— Оставь меня в покое. И, пожалуйста, прибегай скорее!

Поэт сунул босые ноги в туфли, прижал к корпусу согнутые в локтях руки и с радостным воплем помчался по шоссе...

...До самой Москвы они ехали молча. Уже на Садовой, когда надо было сворачивать на Сретенку, где жил Блинов, Лебедкин вдруг сказал виноватым голосом:

— Вася, ты меня извини, но мне еще надо успеть выступить. Тут недалеко — в клубе у армейских товарищей... У них вечер отдыха, и меня пригласили почитать стихи. Я до того ошалел с этой весной, что чуть было не забыл. Давай заедем на полчасика, а потом я тебя доставлю домой. А не хочешь — пересядь на такси.

— Не хочу! Страдать — так уж до конца!

Вскоре машина приятелей остановилась у величественного здания клуба. Поэт поправил перед водительским зеркальцем галстук, сдернул пиджак, посмотрел на свои голые щиколотки и сказал:

— Все вполне прилично... Вот только то, что я без носков выйду на эстраду?! Это ничего, как ты думаешь, Вася?.. Не скажут, что это неуважение к зрителю?

— Не знаю! — сухо ответил прозаик.— Я тебе одолжить свои носки не могу: у тебя размер ноги сорок

пять, а у меня сорок. Разувай швейцара, конферансье, кого хочешь!..

Когда через полчаса сияющий Лебедкин появился на гранитных ступеньках клубного подъезда, прозаик в первую секунду подумал, что у него начались галлюцинации: на плече у поэта висел новенький ягдташ, а в руках он держал... убитую птицу! Поэт быстро сбежал вниз по широкой лестнице, подошел к машине, поднял свою добычу и, держа ее на вытянутой руке, сказал:

— Вася, вот и моральное оправдание... неплохой глухарек!..

— Позволь... где ты его подстрелил, в буфете или в зале?!

— Сейчас все объясню!.. Ах, какой народ замечательный наши армейцы! Я, понимаешь, вышел на эстраду и все им рассказал, извинился, что... на босу ногу... А им это как раз и понравилось. Один полковник мне даже с места крикнул: «Ничего, товарищ Лебедкин, поэт и в жизни должен быть мастак!..» Успех я имел, Вася, потрясающий! Давно так не аплодировали. Кончил читать — выходит на сцену начальник клуба и преподносит мне от имени их охотничьего кружка вот этот ягдташ и глухаря... Ты жене не говори, я скажу, что в лесу подстрелил!

— Так она тебе и поверит!

— Поверит! Она ведь вроде тебя... из той же породы следопытов с Лаврушинского! Потом я ей признаюсь. Поехали домой!

Машина быстро помчалась по широкому руслу Садовой. Прозаик сидел рядом с поэтом, думал о чем-то своем. Ветер стих, потеплело. Ясное, звездное небо сулило на завтра хорошую погоду.

Повеселевший Блинов положил руку на плечо Лебедкина, гнавшего машину на пределе дозволенной скорости, и сказал:

— Знаешь, Максимка, я тебе очень благодарен за эту поездку!

— То-то! Надышался, проветрился. Знаешь, как это много значит для нашего брата. Теперь ты так напишешь свой «Вечерний покой» — читатели пальчики оближут!

— Нет, теперь-то я уж наверняка не напишу этот рассказ.

— Почему?

— Потому что я проветрился и понял, что у меня не хватает для него живых впечатлений. Поэтому он мне так и не давался. Если бы ты не вытащил меня за город, я бы его, конечно, написал, и... одним плохим, худосочным рассказом стало бы больше! Спасибо тебе, Максим, от моего имени и от имени моих читателей.

— Не за что, Вася.

Гудела, сверкала, переливалась огнями весенняя Москва [1].

Человек из былины

I

Для молодых людей нашего времени эпоха гражданской войны в России стала былинно-песенной исторической далью.

Для людей старшего поколения — это разломное время с его неповторимыми чертами и признаками — живая, трепетная реальность, которую забыть нельзя.

Но при всей своей физически зримой реальности люди той эпохи, которых ты знал лично, и тебе теперь кажутся былинными богатырями — добрыми молодцами из легенд и сказок.

Таким былинным богатырем остался для меня Дмитрий Петрович Жлоба, командир «стальной дивизии».

Он и внешне был богатырь, этот бывший слесарь из Донбасса,— приземистый, с мощными плечами и грудью, с «коршунячьим» — шолоховское словечко! — носом, с круглыми, тоже птичьими, очень зоркими и очень умными глазами. Походка вразвалочку, кожаная потрепанная куртка, на голове кожаный картуз, на ногах — солдатские, дьявольской прочности, сапоги, сшитые «по ноге» каким-нибудь безымянным станичным сих дел волшебником.

---

[1] Максим Лебедкин — это Сергей Васильев. Сюжет рассказа не придуман мною, все так и было, как тут написано, но Василий Блинов это не я. Вернее, не совсем я.

Одним из главных, если не самым главным признаком того времени, была необходимость для каждого человека, а в особенности для молодого — выбирать быстро и бесповоротно (промедление тут часто действительно бывало смерти подобно) свой путь в жизни.

Кто не с нами, тот против нас! — так говорила красная сторона, но так же говорила и белая!

Впрочем, для бывшего слесаря из Донбасса, связанного «с младых ногтей» с революционным шахтерским подпольем — этот выбор был сделан значительно раньше! В царской армии Жлоба в первую мировую войну служил в авиации, он был бортмехаником известного русского военного летчика, поручика Габер-Влынского, асса и георгиевского кавалера. После Октябрьской революции Габер-Влынский эмигрировал в свою родную, панскую тогда Польшу. А его бортмеханик еще раньше ушел «в большевики».

Я не стану рассказывать здесь подробно об этапах военной биографии Дмитрия Петровича Жлобы — я ведь знал Жлобу уже мирного.

Бои за Арсенал в Киеве, поход через Донбасс на Кубань, участие в отражении корниловского штурма Екатеринодара, оказавшегося гибельным для самого Корнилова, бои с деникинцами во время второго кубанского похода белых, бои под Царицыном с кубанской белоказачьей армией, которой тогда командовал Врангель, сражение, даже не сражение, а сеча у ворот в Крым с генералом Слащевым — прототипом булгаковского Хлудова из пьесы «Бег» — вот эти этапы.

Военное счастье неизменно сопутствовало Жлобе. Его знали и «ценили» в деникинских штабах, и когда на их штабных картах появлялись стрелки, обозначавшие присутствие на угрожаемом участке белого фронта «стальной дивизии» Жлобы,— полковники и генералы с генштабистскими значками на кителях зябко и опасливо передергивали плечами. От этих красных «самородков» всего можно ожидать, они ведь воюют вне всяких доктрин и правил!

Военное счастье изменило Жлобе позже, когда его конный корпус потерпел поражение при попытке ворваться в белый Крым и захватить крымский плацдарм до того, как туда успеют перебраться остатки разбитой под Ростовом и на Кубани деникинской армии.

Искусно маневрируя, генерал Слащев бросил против Жлобы свою авиацию и бронепоезда и фактически уничтожил весь его корпус. За это сражение Слащев получил уже от Врангеля, сменившего Деникина на посту главнокомандующего, приставку «крымский» к своей фамилии, что, однако, впоследствии не помешало обоим генералам разругаться насмерть. Когда врангелевская армия, выбитая Фрунзе из Крыма, прибыла на кораблях в Константинополь, Врангель уволил Слащева из кадров армии, и «крымский герой» остался на турецких бобах, как говорится, «без всякого довольствия и удовольствия».

Некоторое время Жлоба был вне армии, а потом командовал дивизией, совершившей славный поход против меньшевистской Грузии.

II

Кончилась гражданская война, и свою мирную карьеру Жлоба начал на посту... председателя комиссии по борьбе с детской беспризорностью на Кубани. В этом была своя логика. Командир «стальной дивизии» был ведь замечательным организатором, привыкшим действовать по-фронтовому, напористо и быстро, а только так и можно было справиться с таким тяжким бедствием, как детская послевоенная беспризорщина. И, кроме того, он был очень добрым, отзывчивым на людское горе и людскую нужду человеком. В особенности когда дело касалось детей.

Потом Жлоба стал сеять на Кубани рис в причерноморских районах. Он был первым председателем кубанского Рисотреста. Вот тогда-то, в 1931 году, я с ним и познакомился. Я писал фельетоны и очерки для краснодарского «Красного знамени», но уже печатался и в центральных журналах и газетах. Связавшись с «Красной нивой» (был такой журнал в Москве), где в то время работал Лев Кассиль, я получил от него телеграфное задание — написать для журнала о Жлобе и кубанском рисе, да еще и в самом срочном порядке. Я пошел к Жлобе, представился ему, показал телеграмму (на Дмитрия Петровича она произвела, как я заметил, нужное мне впечатление) и тут же услышал от него:

— Приходьте завтра сюда ко мне, часам к десяти вечера, я как раз еду к своим ребятам, захвачу вас с собой. Ночью ехать по степи — сплошное удовольствие. Не жарко! Быстро ездить любите?

— Какой же русский не любит быстрой езды! — ответил я ему гоголевской цитатой и по его усмешке — одними глазами — понял, что он знает, кого я цитирую.

— С ветерком вас прокачу, по-гоголевски,— прибавил Жлоба.— Жалеть не будете, что поехали. Ну,— давайте,— в десять ровно, завтра!..

И вот мы катим по ночной, ровной, как стол, степи. Я сижу рядом со Жлобой, касаясь своим плечом его могучего, обтянутого все той же потертой кожанкой плеча. Бывший бортмеханик поручика Габер-Влынского ведет машину как бог, а точнее сказать, как дьявол, потому что она летит в ночь со скоростью, по моему ощущению превышающей заложенные в ней лошадиные силы — возможности. Мигают крупные ласковые звезды. Не ветерок, а крепкий ветер летит нам навстречу, приятно и весело холодит щеки. Мы молчим. И вдруг Жлоба — его большие рабочие руки с железными узловатыми пальцами прочно лежат на баранке — запел...

Я гостил у Жлобы в его владениях два дня. Мы ходили с ним смотреть рисовые поля, обедали в рабочих столовках, говорили по душам с его «ребятами» — в подавляющем большинстве это были его бывшие бойцы из «стальной дивизии». Узнав, что их командир заделался главным кубанским рисоводом, они стали, как сказал Жлоба, «гуртоваться» вокруг него, приезжая сюда, в кубанские плавни, из самых разных, иногда очень отдаленных мест страны. Они жили здесь и работали на началах своеобразной партизанской коммуны с простыми порядками, напоминавшими порядки и нравы Запорожской Сечи.

...В комнату в хате, занятую Жлобой под свой кабинет, входит, прихрамывая, пожилой усатый человек, снимает смушковую кубанку, обнажая загорелый бритый череп, говорит, широко улыбаясь:

— День добрый, Дмитрий Петрович. Не узнаете?

— Не узнаю... хотя личность вроде мне и знакома твоя.

— Голубец я, Степан. Я с вами под Царицыном

был... и тут на Кубани... шебаршил. До взводного дослужился. Припоминаете?..

— Извини,— не отчетливо. Ты прямо говори, что надо!..

Бывший взводный «стальной дивизии» смущенно опускает очи долу.

— Поработать бы хотелось с вами, Дмитрий Петрович, как вы есть теперь на мирно-созидательной... Я, правда, больше по пшеничке специалист, но ежели надобно... рисок, могу и рисок!

— Ладно! Ступай, Степан, в хату рядом, там тебя зачислят на полное довольствие и направят куда надо. Жинку привез?

— Никак нет, решил сначала: доберусь до вас, поговорю, устроюсь, а потом уж... и жену и деток тоже привезу сюда.

— Привози! Рис на Кубани — сейчас дело первостатейно партийное,— запомни!

Я написал для «Красной нивы» очерк о кубанских рисоводах и их легендарном командире. Он был опубликован и понравился Жлобе, о чем я узнал позже при обстоятельствах для меня драматических, вернее будет сказать, что они могли бы стать для меня драматическими, если бы не Жлоба.

Получилось так, что я опубликовал в краснодарской газете и в одном ленинградском тонком журнале очерк о замечательных достижениях одного местного завода. Замечательные достижения затем оказались пышной липой, очковтирательством, в чем я, человек малосведущий в технике, в процессе написания очерка, конечно, разобраться не мог.

И вот я, накануне отъезда в Москву на литературную работу в столичной печати, узнаю, что меня хотят примерно наказать за этот мой злополучный очерк, снять с работы и прочее — короче говоря, поставить крест на моей тогда еще журналистской карьере. Что делать? Конечно, я виноват, но ведь заводские заправилы втирали очки не только мне, а многим вышестоящим товарищам,— почему же я должен стать главным козлом отпущения?! И вдруг меня осенило: надо идти, нет — бежать, к Жлобе, только он со своим влиянием и своим положением в городе может мне помочь.

Прихожу. Рассказываю все как есть. Жлоба мол-

чит, потом так же молча снимает телефонную трубку и звонит именно туда, куда нужно, и именно тому, кому нужно.

Юмористически скосив на меня левый глаз, Дмитрий Петрович говорит в трубку:

— А вот о моих ребятах он хорошо написал в московском журнале, всем нашим понравилось... Молодой еще,— исправится!.. Ткнуть носом надо, конечно, но так, чтобы нос у него на месте остался... Он у меня сидит, сейчас я его к вам пригоню!..

Меня действительно «ткнули носом», но нос мой остался на месте, и я навсегда сохранил в своем сердце чувство благодарности к бывшему командиру «стальной дивизии».

Поросенок из Мечетки

> **А время гонит лошадей.**
> *А. Пушкин*

В начале 1943 года мне позвонили из Союза писателей СССР и сказали, чтобы я немедленно приехал в Союз «по очень важному делу».

Я приехал и узнал, что включен в писательскую бригаду, направляемую в только что освобожденный от немецких захватчиков Ростов-на-Дону, где нам предстоят творческие встречи с тружениками города и области.

— Вы будете первыми московскими ласточками на израненной донской земле. Скажите донцам, что советская весна вернулась на Дон навсегда!— несколько напыщенно сказал принимавший меня работник Союза и прибавил доверительно и просто: — Задание самого Фадеева, он лично наметил и утвердил состав бригады.

В Московский писательский десант на Дон вошли: поэтесса Екатерина Шевелева, прозаик Павел Нилин, поэт Сергей Васильев и я.

Шевелева по своей общественно-литературной судьбе была связана с Ростовом, я в 1923—1924 гг. учился в Ростовском университете на экономическом факуль-

тете, но больше увлекался стихосложением, а не экономическими дисциплинами. Будучи членом Всероссийского Союза поэтов и считая себя левым попутчиком, я неоднократно вступал в «рукопашные» словесно-полемические схватки с ростовским РАППом, во главе которого стояли Киршон, В. Ставский и другие. Фадеев, работавший в газете «Советский Юг», конечно, поддерживал РАПП, но это и тогда не мешало ему мыслить шире рапповских мерок «от сих до сих», и он охотно, например, печатал мои, совсем не рапповского тона, стихи. Потом, уже в Москве, мы не раз вспоминали с ним при случае то бурлившее крутым кипятком время, обращаясь друг к другу на «ты». Когда мне в 1955 году стукнуло 50 лет — первая полученная мною поздравительная телеграмма была от Александра Фадеева.

Сергей Васильев и Павел Нилин были, что называется, «тертыми калачами», настоящими фронтовиками, которые везде и при всех обстоятельствах не теряются и знают, как надо себя держать и вести. Сережа Васильев был и остался моим близким другом до самой своей безвременной смерти. Павла Филипповича Нилина я знал как прекрасного прозаика и интереснейшего человека с удивительным оригинальным чувством юмора, и он мне давно нравился. Екатерина Шевелева оказалась человеком легким и общительным. Пока ехали до Ростова, мы надежно «притерлись» друг к другу.

Как-то само собой сложилось распределение обязанностей на будущих наших ростовских вечерах. Нилин — так мы решили в вагоне — будет у нас главным оратором, открывающим литературный вечер, запевалой; подменять его в случае необходимости будут Шевелева и Сергей Васильев.

— А суслика,— сказал Нилин, имея в виду меня,— мы будем выпускать на десерт, с его рассказами.

Шутка Нилина насчет «суслика» родилась тогда же в вагоне поезда Москва—Ростов. Он узнал, что моя настоящая фамилия Попов, а Ленч — это псевдоним, с деланной горестью покачал головой и сказал: «Дали тебе, суслику, такую фамилию, и что ты с ней сделал!»

Я рассмеялся первым, но тут же, на всякий случай, сказал:

— Только ты, Павел Филиппович, когда будешь меня

объявлять, не скажи, не дай бог, так: «Сейчас свои рассказы прочитает... Суслик!»

— За кого ты меня принимаешь!— ответил Павел Филиппович.— Неужели я не знаю, что такое вагон и что такое зал, где идет литературный вечер московских писателей!

Екатерину Шевелеву мы единогласно избрали политкомом нашей десантной группы — «Фурмановым в юбке», как сказал Сергей Васильев.

Екатерина Васильевна обаятельно улыбнулась:

— Я согласна быть комиссаром. Только смотрите, ребята, чтобы без обид. Я строгий комиссар!

— Посмотрим,— проворчал Нилин,— у нас ведь полная демократия в бригаде, возьмем и скинем тебя, а комиссаром выберем Серегу или суслика... виноват, Леванида!

Так, с шутками, с дружеской подначкой, с воспоминаниями о пережитом на фронте, мы наконец добрались до Ростова.

Уезжали мы из Москвы в мороз, со снегом и ледяным ветром, а в Ростов приехали, когда здесь бушевал проливной дождь... Ночь, город затемнен наглухо, где мы остановились, на каком пути стоим — один бог знает. И то вряд ли!..

Мы вышли с нашим скудным багажом из вагона и оказались в чернильной густой и мокрой тьме. Никто нас не встретил, а тут еще дождь. Куда идти? Кого искать? А главное, как тут и кого найдешь в этой кромешной тьме, под этим окаянно шумящим ливнем?!

Шевелева, наш политком, стуча зубами от зябкости, сказала бодро:

— Не унывайте, ребята,— нас наверняка найдут и отвезут куда надо. Будем стоять здесь и ждать!..

И действительно, вскоре мы увидели слабые вспышки электрических ручных фонариков. Кто-то шел в темноте, направляясь к нашему составу.

Издали донесся голос:

— Кто приехал — отзовитесь!

— Мы приехали!— выкрикнули мы хором.

— Вы писатели?— повторил, приближаясь, радостный голос.

— Писатели!
— Какие?
— Московские!— отозвалась Шевелева.
— Хорошие!— сказал Нилин.
— Но промокаемые!— сказал я.

Подошли двое: девушка в плащике с капюшоном и средних лет мужчина, осветивший нас своим фонариком. К сожалению, я не запомнил их имен.

— Мы из обкома,— сказал мужчина.— Извините, что заставили вас ждать, но сами видите...

— Вернее — не видим!— сказал Нилин.

Все рассмеялись, мы гуськом, держась за шинель или за пальто идущего впереди, стали пробираться через пути в город. Нас посадили в пикап и куда-то повезли.

— Куда вы нас везете?— спросила Шевелева.

Девушка в плаще с капюшоном сказала:

— В общежитие обкома... Тут у нас есть один дом, более или менее уцелевший от бомбежек... Уж извините, если что будет не так.

Общежитие обкома занимало пятиэтажный дом, не то на Малом, не то на Среднем проспекте. Как этот дом уцелел среди сплошных развалин, его окружавших,— было непонятно. В таких случаях говорят: «Чудом». Мы поднялись по искореженной лестнице в отведенную нам комнату на третьем этаже, увидели кровати с чистым постельным бельем, теплые одеяла и даже чайник с кипятком и маленький чайник с крепкой заваркой чая на столе и воспрянули духом. Первых московских ласточек встретили на Дону приветливо!

На следующий день нас принял первый секретарь Ростовского обкома партии Борис Александрович Двинский. Я сказал ему, что на меня, помнящего довоенный шумный, нарядный, веселый Ростов с его «улицей Садовой, скамеечкой кленовой», с его знаменитым кафе «Ампир», в котором за чашечкой кофе или стаканом чая мы сиживали со своими студенческими подружками, нынешние развалины города производят гнетущее впечатление. Двинский помрачнел и сказал:

— Война! Но знаете — дух Ростова, его оптимизм, его веселый нрав война не сумела подавить. Вы сами в этом убедитесь, когда встретитесь с нашими людьми на ваших вечерах.

Он улыбнулся и закончил:

— Побывайте на нашем рынке, он такой же, там все можно купить — от примусной иголки до... немецкой неразорвавшейся авиабомбы включительно!..

На рынок мы пошли вдвоем: Васильев и я. Шевелеву и Нилина увезли в город на встречу с читателями.

Ростовский рынок после суровой пайковой Москвы потряс нас своим изобилием. Конечно, это было особое, военное изобилие, но подумалось нам тогда, какая же это благословенная и щедрая земля — Дон, если после двух лет тяжких военных испытаний она способна так радовать глаза людей своими дарами. Цены, впрочем, были аховые. Мы, например, купили на двоих маленький глечик каймака [1] — знаменитого ростовского лакомства; купить каждому по глечику, как говорил бунинский мужик, нам наш «капитал не позволял».

Потом мы купили — уже каждому! — по огромной жареной гусиной ноге и отошли со своей добычей в сторонку, за какой-то киоск, чтобы здесь, вне любопытствующих базарных глаз, насладиться этой волшебной едой. И тут перед нами возникла какая-то личность с сизой бугристой физиономией, в потертой шинельке, и проскрипела:

— Гусь, дорогие товарищи, плавать любит. Могу налить, стаканы — при мне.

С этими словами он извлек из недр своей шинельки два стакана и початую бутылку с мрачно-желтой жидкостью.

— Выручайте инвалида. Сколько наливать — по стакану или по половинке?

— Ты, братец, такой же инвалид, как я бабочка-капустница! — сказал Васильев. — Чем угощаешь, какой отравой?

— Какая отрава! — обиделась сизая личность. — Это наш ростовский тархунчик!

Московский «тархун», мы знали, так называлась самая дешевая водка, сдобренная травой тархун, которая, не улучшая вкусовых качеств зелья, окрашивала его

---

[1] Каймак — топленые сливки.

для увлекательности в нежно-изумрудный аптечный цвет.

После ливней наступили морозы, и мы решили выпить по половинке стакана ростовского «тархунчика» с профилактической антипростудной целью. Личность налила в стаканы свою отраву... «Тархунчик» оказался, как мы и ожидали, самым вульгарным, плохо очищенным самогоном с мерзко-дальнобойным запахом. Мы уже поднесли ко рту стаканы, как вдруг за киоском возник еще один человек, одетый в хорошее драповое пальто и «при шляпе». Он посмотрел на меня, и... не успел я опомниться, как очутился в его объятиях.

Человек «при шляпе» оказался артистом Ростовского драматического театра Ильей Швейцером, я знал его и дружил с ним еще в Краснодаре; в Ростове он играл в моей пьесе «Павел Греков»[1], поставленной на сцене Ростовского театра Юрием Александровичем Завадским. Горячась и перебивая друг друга, мы о многом успели поговорить тут же, на рынке, за киоском. Выяснилось, что ростовские артисты почти все вернулись в родной город, уже приехал и сам Григорий Леондор — гордость ростовской сцены, замечательный мастер,— он тоже играл в «Павле Грекове». Покосившись на личность, нетерпеливо переминавшуюся с ноги на ногу в ожидании расплаты за «тархунчик», а главное — возврата своих стаканов,— Швейцер сказал:

— Налей мне полстакана своей дряни!

Мы чокнулись и выпили за Ростов, за его возрождение, за победу. Расплатиться с личностью Илюша Швейцер нам не позволил, взял этот расход на себя, доказав тем самым, что дух старого ростовского гостеприимства непоколебим.

Изо всех литературных выступлений за время нашей десантной операции запомнились мне два: в Таганроге и в станице Мечетинской.

Таганрог, как и Ростов, пережил много бед и ужасов, связанных с немецкой оккупацией, но разрушен был не так катастрофично, как Ростов.

---

[1] Пьесу «Павел Греков» я написал совместно с Борисом Войтеховым.

Вечер, о котором я хочу рассказать (впрочем, он только назывался вечером, а на самом деле выступали мы днем), происходил в хорошем чистом зрительном зале. На встречу с нами, помнится, собрались учителя таганрогских школ — интеллигентная публика.

Каждое выступление перед слушателями волнует не только писателей, но даже профессиональных артистов, а тут еще прибавились такие факторы, как первый контакт с читателями, только что вырванными из фашистской неволи нашей армией, и то, что контакт этот происходил на родине Чехова. Волновались мы все ужасно. Но после первых же слов Павла Нилина, произнесенных с искренним, сердечным трепетом, мы поняли, что зал — наш. Нилин говорил замечательно — о жестокостях войны, о нашей вере в победу, о том сплаве терпения, доброты, мужества и доблести, который заложен в советском русском характере. Сергей Васильев и Екатерина Шевелева читали свои военные стихи тоже с большим успехом. А я сидел на сцене, ждал своей очереди и никак не мог для себя решить, что мне читать здесь, в этом зале, для этих людей с горящими глазами. У меня был накоплен уже кое-какой опыт литературных выступлений, но тут был особый случай. И вдруг меня осенило: надо читать «Энзе». Сюжет этого моего рассказа был прост, но довольно динамичен: заводская кубанская работница ушла в горы, в партизаны, вместе с другими рабочими завода, и стала стряпухой; отряд жил, естественно, впроголодь — в горах не очень-то разживешься съестным. Но вот однажды партизаны добыли где-то свинью и приволокли ее в землянку к Тимофеевне — так я назвал героиню рассказа.

«Пришли веселые, шумят:

— Сейчас мы ее заколем и ты... Тимофеевна, сваришь нам настоящий кубанский борщ со свининой.

Поглядела я на свинью: ладная такая свинка, упитанная, не схотелось мне ее колоть. Пусть, думаю, в хозяйстве живет — может, приплод даст!

Пошла до начальника, уговорила его объявить свинью как бы «Энзе»— неприкосновенный запас.

Обиделись на меня наши партизаны — ужас как! Ну еще бы, борщ мимо рта проехал!

Сварила я им кашу, хорошую, пшенную, а они едят

и хают ее, да громко, чтобы я слышала. Они хают, и жалко мне их, а у самой думка: не вечно же, думаю, мы будем в горах, в землянках сидеть? Прогоним немца, вернемся на завод — хозяйства наша вся порушенная, с голого места начинать придется. Так хоть свинья будет на первое время!»

Когда партизанские наскоки на свинью «Энзе» стали совсем уже нестерпимыми и командир отряда готов был уступить им, Тимофеевна заявила, что «Энзе» пороская и теперь ее уж, конечно, нельзя колоть. Стряпуху спросили: «Откуда пороская?»— «Думаю, от дикого кабана».

«— Ну, раз — пороская... отставить... только смотри у меня... На твою ответственность!

А я-то так сказала, наобум лазаря. Ох, думаю, будет мне теперь.

И что же вы думаете? Свинья-то оказалась действительно пороская. Такой уж у нас воздух на Кубани. Весной, как немца прогнали, она и опоросилась. Не подвела меня. Восемь поросят привела. Мордочки у всех острые, длинные. В отца!..»

Кончался рассказ так:

«Вернулись мы на завод. Ходим по развалинам, где раньше наши цехи стояли, и плачем — не то с радости, что вернулись, не то с горя.

А начальник говорит:

— Слезами горю не поможешь. Пускай каждый займет свое место. Надо работать, помогать фронту. Ты, Тимофеевна, забирай свою «Энзе» с поросятами, поезжай в подсобное хозяйство, действуй!»

Когда я прочитал финальные строки рассказа: «Ничего, все наладится. Это же Кубань. У нас воздух веселый, легкий!..»— в зале началось то, что в стенограммах обозначается как «аплодисменты, переходящие в овацию».

Я написал сейчас эту фразу и подумал: «А не обвинит ли меня строгий критик в нескромности?» Но ведь все это так и было, рассказ мой, несмотря на всю незатейливость его сюжета и некоторую — для снобистского уха — грубоватость юмора, угодил «в яблочко», оказался настроенным на ту же психологическую волну, которая владела тогда и нашими слушателями.

Во второй раз я читал свой «Энзе» в Мечетке, на собрании партийного и советского актива района — первом после освобождения от оккупантов. Мы приехали в станицу на машине обкома партии с большим опозданием и решили ехать прямо в клуб, где должен был собраться актив. На станичных улицах было пустынно. Шла женщина с коромыслом на плечах, в тулупе, закутанная до бровей шерстяным платком,— был сильный мороз. Водитель наш спросил ее:

— Тетенька, где тут ваш клуб?

— Не знаю.

— Как же вы не знаете, где клуб?— укоризненно сказала Шевелева.

— А он нам ни к чему!

Мы рассмеялись от простодушия этого ответа, а Шевелева, взглянув на нас неодобрительно, сказала:

— Сразу видно, что политико-воспитательную работу, ребята, тут надо начинать с нуля.

Актив, как оказалось, был, на наше счастье, перенесен на следующий день. Вечером мы познакомились и хорошо поговорили с секретарем Мечетинского райкома партии Иваном Емельяновичем Березиным, человеком умным, дельным и симпатичным, типичным районщиком из породы тех районных руководителей, о которых написал свою замечательную книжку Валентин Овечкин.

На вечере мечетинских активистов повторилось все, что произошло в Таганроге. Нилин был в ударе, поэты наши тоже не подкачали, а я со своим «Энзе» удостоился не просто, а «шумной овации».

Утром мы уезжали в Ростов. Провожать нас пришел Иван Емельянович, торжественно вручивший каждому из московских писателей-десантников... по поросенку.

— Это вам гонорар за ваше выступление!— сказал он, улыбаясь и пожимая мою руку.

Чувствуя себя героем минуты, я ответил ему:

— Спасибо, Иван Емельянович, благодарю вас от имени всей нашей бригады.

— Как мы только довезем этих миленьких поросяток до Москвы?— жалобно вздохнула Шевелева.

— Ничего!— успокоил ее Иван Емельянович.— Если их мамаша перенесла фашистскую оккупацию, то ее дети как-нибудь вынесут путешествие по железной дороге даже в военное время.

«Деток» мечетинской «Энзе» мы довезли до Москвы благополучно.

В Ростове меня ожидал еще один приятный сюрприз — Ростовское областное издательство подписало со мной договор на издание книжки моих юмористических рассказов «Неприкосновенный запас» объемом в... полтора печатных листа! Эту книжечку величиной с детскую ладонь, отпечатанную на обрывках газетной бумаги, я берегу как дорогую военную реликвию, и она занимает свое почетное место на книжной полке, среди моих книг, изданных у нас в Союзе и за рубежом на отличной бумаге и с рисунками первоклассных художников.

Содержание

Рассказы из моей жизни

Встречи на пути

95 коп.

Леонид Ленч ВСТРЕЧИ НА ПУТИ